



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР-МАРТЕН-МАНСУР

ЧАСТЬ II · ХОЗЯИН

ИЛЬЯ КАЛИНИН

18+

Илья Калинин

**Виктор-Мартен-
Мансур. Часть II. Хозяин**

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор-Мартен-Мансур. Часть II. Хозяин / И. Калинин —
«Автор», 2026

Почти пятьсот динаров золотом и жемчугом и Хаджар — город посреди пустыни, где о нём никто не слышал. Бывший московский продажник Виктор Скорев, когда-то очнувшийся в чужом теле и чужом веке, добрался до цели: дом за глухой стеной, хороший повар, жизнь на процент. Только процент здесь запрещён верой, чужак без рода — никто, а золото без дела рано или поздно находит себе хозяина. Тогда Виктор придумывает хозяина сам — богатого невидимого купца из-за Восточного моря, а себе оставляет роль скромного управляющего. Выдумка работает слишком хорошо: клеймо несуществующего купца становится самым надёжным знаком верблюжьего рынка, в его рассрочках сидят целые роды, а эмиру срочно нужны деньги на войну. Казначей эмира считает не хуже Виктора и не верит в купцов, которых никто не видел. Сначала он присылает письмо от хозяина, которого никогда не было, потом — его сына. Осталось похоронить человека, которого не существовало, и уйти живым. Вторая книга цикла «Виктор-Мартен-Мансур».

© Калинин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ноль процентов	5
Глава 2. Легенда	10
Глава 3. Джар	15
Глава 4. Дом за глухой стеной	20
Глава 5. Чужие руки	25
Глава 6. Тот самый Малик	30
Глава 7. Соль	35
Глава 8. Саранча	40
Глава 9. Верблюжий рынок	45
Глава 10. Фетва	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Илья Калинин

Виктор-Мартен-Мансур. Часть II. Хозяин

Глава 1. Ноль процентов

Утром меня разбудил верблюд. Он ревел за стеной так, будто его режут, хотя его, скорее всего, просто поили.

Минуту я лежал и не понимал, где нахожусь. Потолок из пальмовых жердей, глина, полоска света под дверью. Потом вспомнил. Хаджар. Постоялый двор у восточных ворот. Оплачено на месяц вперёд.

Первым делом я проверил пояс. Это стало рефлексом — как когда-то проверять телефон, не открыв глаз. Пояс был на месте.

Я лёг на пол и сделал двадцать отжиманий. На пятнадцатом задрожали руки. Месяц назад я делал сорок. Пустыня сняла с меня килограммов восемь, и вернуть их предстояло рисом, бараниной и сном.

У меня было почти пятьсот динаров, и в этом городе об этом не знала ни одна живая душа. Лучшей стартовой позиции у меня не было ни в одной из трёх жизней.

Оставалось понять, как ничего не делать.

Позже выяснилось, что это единственная работа, с которой я так и не справился.

* * *

Внизу хозяин двора гремел котлами. Пахло дымом, кислым молоком и сухим верблюжьим навозом, который здесь жгли вместо дров. Деревя в Хаджаре не было. Было всё, что можно высушить на солнце, а солнце здесь работало без выходных.

Я спустился и сел на циновку в углу двора. Хозяин, не спрашивая, принёс лепёшку, миску кислого молока и горсть фиников. Это входило в плату. Я съел всё и попросил яиц.

Он посмотрел на меня так, будто я попросил вина.

— Яйца у жены, — сказал он. — Куры на крыше. Четыре медяка за пару.

Завтрак, который входил в плату, обходился ему медяка в три. Пара яиц стоила дороже, чем весь этот завтрак. Я взял четыре штуки и отсчитал восемь медяков по одному, как человек, которому каждая монета даётся с кровью.

Хозяин сгрёб медь и ушёл. Но взгляд я запомнил. Нищие не едят яиц. Нищие едят лепёшку и благодарят бога за финики. В новом месте прокалываются не на больших вещах. Прокалываются на яйцах.

Яйца были мелкие, с тёмным, почти красным желтком, и отдавали чем-то травяным. Я ел их медленно, с солью. Граммов двадцать пять белка. В Москве эту задачу решала пачка творога из магазина у дома. Здесь на неё ушла пятая часть дневного заработка подёнщика и одна маленькая трещина в легенде.

* * *

План у меня был простой. Я составил его ещё ночью, слушая, как за стеной жуёт верблюд.

Купить дом. Нанять повара. Сшить два-три костюма из хорошего льна. Разложить деньги по двум-трём людям, чтобы общей суммы не знал никто, и жить на процент.

Процента в прямом смысле на юге не было. Рост запрещён верой — это я выучил ещё в Азмаре, где открытого ростовщика не пускали на порог приличного дома. Но, как в любом строго регулируемом деле, здесь был разрешённый продукт. Ты даёшь деньги купцу, он торгует, прибыль вы делите по уговору. Убыток твой. Через дом Джафара так ходили сотни динаров, и я сам вёл эти записи. Называй как хочешь: доля, оборот, товарищество. Для меня это был процент. Работают деньги, а ты нет.

Пятьсот динаров в хорошем обороте давали в год пятую часть, а то и четверть. Сто динаров. Мне на жизнь, с поваром, бараниной и льном, хватило бы тридцати. Остальное шло бы обратно в дело. Через десять лет я был бы богаче, чем в день прихода, ни разу не встав с подушек.

Я любил этот расчёт. Он был красивым, как все расчёты, сделанные ночью.

Днём его предстояло проверить.

* * *

Я вышел за ворота двора около восьми утра, если считать по-моему. Солнце уже стояло высоко и давило на плечи, как ладонь. Тридцать градусов, а к полудню будет за сорок пять.

Улица от восточных ворот уходила в город узким коридором между глухими стенами. Ни одного окна. Глина цвета песка, местами осыпавшаяся, местами подмазанная свежей, тёмной. Двери низкие, тяжёлые, из привозного дерева, обитые железом. Над некоторыми висели пучки сухой колючки — от дурного глаза, как я узнал позже. Город стоял лицом внутрь. Всё, что здесь имело цену, было спрятано за стенами: сады, вода, женщины, деньги. На улицу выходили только пыль и мужчины.

Мужчины были под стать стенам. Высокие, сухие, тёмные, в длинных рубахах, с платками на головах. У каждого на поясе кинжал в кривых ножнах. У каждого — у мальчишки лет двенадцати, у старика с палкой, у погонщика с ослom. Я шёл с пустым поясом и чувствовал себя голым. В Москве так чувствуешь себя на деловой встрече, когда у всех на столе телефон, а у тебя нет. Все смотрят и думают: с этим что-то не так.

Смотрели, впрочем, недолго. Бледный оборванец в выстиранном тряпье, хромает на левую ногу. Таких в Хаджаре, видимо, хватало. Пришёл с караваном, уйдёт с караваном или ляжет в углу. Взгляд скользил по мне и уходил дальше. Меня это устраивало полностью.

Через десять минут улица вывела на площадь с колодцем.

Колодец здесь был не дыркой в земле, а производством. Над ним стояла рама из толстых брёвен, явно привезённых издалека. На раме — колесо-ворот. Через ворот шла верёвка, чёрная и блестящая от воды, а к верёвке был привязан верблюд. Верблюд уходил от колодца по наклонной утоптанной дорожке шагов на сорок, и из глубины поднималось кожаное ведро размером с бочонок. Человек у сруба опрокидывал ведро в каменное корыто, верблюд разворачивался и шёл обратно. Потом всё повторялось. Судя по длине дорожки, глубина была метров тридцать.

У корыта стояла очередь. Мужчины с бурдюками, мальчишки с бурдюками, ослы с глиняными кувшинами в плетёных корзинах по бокам. Люди наполняли бурдюки и уходили в улицы, сгибаясь под мокрой кожей. Водоносы. В городе, где у богатых свой колодец за стеной, а у бедных нет даже стены, вода шла в дом на чужой спине.

В тени у сруба сидел человек с палкой и медной миской. Каждый водонос, наполнив бурдюк, бросал в миску медяк. Человек не смотрел ни на кого, только на миску.

— Чья вода? — спросил я старика, который стоял рядом со мной в тени.

— Эмира, — сказал старик. — Колодец копал его дед. Вода божья, а верёвка эмирова.

Я встал в тень у стены и стал смотреть. Старая привычка: прежде чем продавать на новом рынке, посмотри, кто тут кому что носит.

Мальчишку я узнал не сразу. Худой, чёрный от солнца, босой, с бурдюком почти в собственный рост. Он закинул бурдюк на спину, выпрямился и посмотрел прямо на меня. Глаза у него были старые. Такие же глаза были у него в караване. Он ни разу не заплакал за всю дорогу, даже когда пал первый верблюд, а Сакр одним словом запретил ему оборачиваться. И у колодца в конце пути он не плакал, а молча залез в корыто для верблюдов целиком.

Он подошёл, не снимая ноши.

— Дошёл, — сказал он. Не спросил, а сказал.

— Дошёл, — сказал я. — А ты уже при деле.

— Воду носят все, у кого нет верблюда.

— А погонщиком?

— Сакр берёт меня, когда идёт в пески. Сейчас не идёт. — Он подкинул бурдюк на спине.
— Летом в пески никто не ходит.

— Как тебя зовут?

— Сахль.

— Сахль, где здесь меняла, который не обманывает чужих?

Он подумал. Не притворно, а по-настоящему, как думают над ценой.

— Такого нет, — сказал он. — Есть тот, кто обманывает меньше. Сайф, у восточных ворот. Через лавку от торговца солью.

Я дал ему медяк. Он взял его без благодарности, как берут плату за работу, и ушёл в улицу, сгибаясь под водой.

Я смотрел ему вслед и думал не о мальчике. Водонос заходит в каждый двор. Видит, кто живёт за стеной, сколько там людей, что варят, о чём кричат. В моей первой жизни за такие данные компании платили миллионы и всё равно получали их хуже. Здесь база данных ходила босиком и брала медяк.

Я отложил эту мысль. Мне не нужна была база данных. Мне нужны были дом и повар.

* * *

Сук был в центре, рядом с большой мечетью. Узкие ряды под кровлей из пальмовых циновок, положенных на балки. Солнце пробивалось сквозь щели, и свет лежал на земле полосами, как штрихкод. Пахло кардамоном, кожей, пылью и финиками.

После Азмара здешний рынок казался бедным и тесным. Ни моря, ни кораблей, ни северян с их сукном. Но товар шёл с обоих берегов, и это было видно. Рис в мешках — с побережья. Кофейные зёрна — с юга. Соль серыми брусками — с соляных озёр в песках. Лён — откуда-то с запада, может быть, через тот же Азмар. Финики лежали горами, и я насчитал не меньше пятнадцати сортов: чёрные, янтарные, почти прозрачные, мягкие, как мёд, и сухие, как дерево.

Я шёл по рядам и делал то, что делал на любом новом рынке: собирал цены. Миска риса с бараниной в харчевне у входа — дирхам. Льняная рубаха — восемь дирхамов. Хороший кинжал — два динара, и продавец, увидев, что я смотрю, сразу предложил за три. Седло для верблюда. Медный кофейник. Верёвка. Мешок фиников.

В голове складывалась таблица. Дирхам — двадцать медяков, динар — десять дирхамов. Подёнщик зарабатывает два дирхама в день. Миска баранины — половина его дня. Я посчитал, сколько мисок баранины лежит у меня в поясе, и получилось число, от которого стало спокойно. Почти пять тысяч. По одной в день — на тринадцать лет.

Одну миску я всё-таки взял. Харчевня у входа в сук была просто навесом над тремя котлами. Хозяин сидел за котлами на корточках и ждал. Не звал, не показывал, не хвалил. Лучшие куски баранины лежали на дне котла, под рисом, и видел их только он. Люди проходили мимо, потому что мимо проходить было проще.

Рис оказался отличным: жирный, с изюмом и чем-то кислым, баранина мягкая, с дымком. Я ел и по старой привычке считал, сколько он теряет. Поднять котёл на уровень глаз, снять крышку, выложить сверху три лучших куска — и к полудню у него очередь. Поставить у входа мальчишку с ложкой, чтобы прохожие пробовали, — очередь до вечера. В Варене я так за один вечер поднял чужую харчевню. В Азмаре мне было не до харчевен.

Я доел и заставил себя встать. Не твоё дело, сказал я себе. Ты на пенсии. Ты пришёл сюда не продавать, а жить на процент.

Слова почти я тогда ещё не замечал.

У выхода из сука, между мечетью и рядами, стоял навес. Под навесом на длинной скамье сидели писцы с чернильницами и досками на коленях. Перед ними толпились люди: покупатели, продавцы, свидетели. Здесь писали купчие, долговые записи, договоры. В глубине, в

тени, сидел пожилой человек в белом, и все, подходя к нему, наклоняли голову. Суд кади. У писцов были чёрные от чернил пальцы, у всех без исключения, как у шахтёров угольная пыль.

Над городом, на возвышении к северо-западу, стояла крепость эмира. Глинобитные стены, круглые башни, наверху зубцы. У ворот стража с копьями, в тени. Крепость была не красивая. Она была толстая. Это разные вещи, и толстые обычно живут дольше.

Я посмотрел на неё и решил, что держаться от неё нужно как можно дальше. Это было единственное в Хаджаре, что я решил в первый же день и ни разу потом не пересмотрел.

И единственное, что мне так и не удалось.

* * *

Лавка Сайфа была крошечной: прилавок, весы, железный ящик и сам Сайф. Тощий, с редкой бородкой, с живыми глазами человека, который любит поговорить и знает, что за разговор тоже платят.

Я положил на прилавок один динар.

Это был риск. Оборванец с золотом. Но оборванцы с золотом приходили сюда с каждым караваном: паломники, десять лет копившие на дорогу, солдаты, продавшие трофей, погонщики, получившие расчёт. Один динар не делал меня богачом. Он делал меня человеком, у которого был один динар. А мне нужна была мелочь, чтобы платить медью за медные вещи.

Сайф взял монету, повертел, взвесил, попробовал на зуб.

— Азмарская чеканка, — сказал он. — Девять дирхамов и пятнадцать медяков.

— Десять, — сказал я.

— Девять и пятнадцать. Пять медяков мне за труд. Хочешь десять — иди к другому, он даст девять ровно.

Я не стал торговаться. Он отсчитал серебро и медь, и я ссыпал их в кошель. Монеты звякнули громче, чем мне хотелось.

— Скажи, — спросил я как бы между делом. — Если у человека есть немного денег. Не в рост, а в дело. Кто здесь берёт чужие деньги в товарищество?

Сайф посмотрел на меня внимательнее. На рвань, на хромую ногу, на кошель.

— Немного — это сколько?

— Это не мои деньги. Земляк спрашивал.

— А. Земляк. — Он улыбнулся, как улыбаются взрослые, когда ребёнок врёт неумело. — Берут многие. Отдают мало. Земляк твой чей?

— В каком смысле?

— Какого рода. Кто скажет за него слово у кади, если купец потом скажет, что денег не брал?

— Есть же запись. Свидетели.

— Свидетели будут его родня, — сказал Сайф. — Запись — его писец. А кади ему, может, и не дядя, но с дядей его пьёт кахву по пятницам. — Он развёл руками. — Это Хаджар, северянин. Деньги тут ходят по родам, как вода по арыкам. Чужую воду в свой арык никто не пустит. Выпустить из твоего — пожалуйста.

Он помолчал и добавил тише, наклонившись через прилавок:

— А если твой земляк думает про рост, пусть лучше думает про что-нибудь другое. В прошлом году был тут один, с побережья. Умный. Давал юношам из родов на свадьбу и на верблюдов. Тихо, через бумажки, будто товар продаёт с отсрочкой. Кади назвал это рибой. Эмир взял его дом в казну, а самого высекли. Вот здесь, у ворот. — Сайф показал пальцем в пыль за моей спиной. — Где ты стоишь.

Я не обернулся. Но место, где стою, почувствовал.

— И что с ним стало?

— Уехал. Без дома, без денег, со спиной. А деньги его теперь работают на эмира. — Сайф откинулся назад и засмеялся, довольный историей. — Вот кто здесь живёт на процент, северянин. Эмир.

— А если купить дом, — сказал я, — и сдавать?

— Купить? — Он снова посмотрел на рвань. — Без поручителя из рода чужому здесь не продадут даже сарая. Земля родовая. Дом стоит у того, за кем стоит род. Ты чей?

— Ничей.

— Тогда ты песчинка, — сказал Сайф и сдул пылинку с чашки весов. — Ветер дунет — и нет тебя.

* * *

Я вышел из лавки на солнце и остановился у стены.

Ночной план рассыпался в двух местах. Деньги не могли работать без рода: любой партнёр мог меня обобрать, и ни один суд не встал бы на сторону чужака. А купить дом без рода я не мог: мне бы просто не продали. Оставались деньги в поясе, которые я мог только тратить. Пятьсот динаров, которые не растут, — это не капитал. Это запас. Запас кончается. Медленно, но кончается, а пока кончается, его ищут.

Это называется регуляторным риском. Здесь у него было имя: эмир.

Для тех, кто брал процент открыто, он был в Хаджаре не доходом, а приговором. А для чужака без рода он был просто нулём.

Ноль процентов.

И была ещё одна вещь, которую в Москве знает любой, кто держал деньги в девяностые. Деньги, которые не работают, рано или поздно начинают работать на того, кто их отнимет.

Я поправил на плече тряпье и пошёл к постоялому двору. Надо было подумать. Думать мне лучше всего удавалось лёжа, в тени, на пустой желудок.

Через лавку от Сайфа торговали солью. Серые бруски лежали на циновке, хозяин лавки отгонял от них мух. Рядом с ним на корточках сидел второй — жилистый, в рваной рубахе, с одним глазом. Второй глаз был белый, как вываренный.

Он не смотрел на соль. Он смотрел на меня. Точнее, на мою руку, в которой минуту назад звенело серебро Сайфа.

Кривой солевар из каравана. Человек, который всю дорогу стерёг свой мех с водой даже во сне. И почти месяц слушал у костра, как я жалуюсь на свору родни, дедову лачугу и долги, из-за которых не на что купить даже нож.

Он улыбнулся мне одной половиной лица.

Я улыбнулся в ответ и пошёл дальше, не ускоряя шага.

Пятьсот динаров в поясе вдруг стали очень тяжёлыми.

Глава 2. Легенда

Думать я лёг в самое жаркое время, когда спит весь Хаджар.

Мой угол на постоялом дворе был под навесом у задней стены: циновка, кувшин с водой, крюк для одежды. За стеной жевал верблюд. Над стеной стояло белое небо, и воздух над глиной дрожал, как над плитой. Градусов сорок восемь, по моим прикидкам. Даже мухи сидели в тени.

Я лежал на спине, смотрел на пальмовые жерди навеса и раскладывал ситуацию по пунктам. Привычка из первой жизни: когда пахнет кризисом, нужен список, а не эмоции.

Пункт первый. Кривой солевар видел, как оборванец из каравана выходит от менялы с полным кошелём серебра. Это факт.

Пункт второй. Тот же солевар почти месяц слушал у костра, как этот оборванец идёт в Хаджар делить с роднёй глиняную лачугу и старый долг. Это тоже факт. Я сам его создал, и создал хорошо: в легенду поверил даже наводчик, а наводчики верят хуже всех.

Пункт третий. Два факта не сходятся. Значит, будет вопрос. Солевары не ходят к стражникам, стражники им не платят. Солевары ходят к тому, у кого серебро.

Он придёт. Сегодня или завтра. Скупые не ждут — боятся, что кто-нибудь успеет раньше.

Вариантов у меня было четыре.

Уйти. Некуда. Летом в пески не ходит никто, следующий караван — осенью. До осени я заперт в Хаджаре, как в лифте между этажами.

Остаться нищим. Можно. Сидеть в углу на пятистах динарах, есть лепёшку и не покупать яиц. Это как голодать на мешке с едой, чтобы никто не догадался, что у тебя есть мешок. Рано или поздно догадаются. По лицу, по походке, по тому, что ты не просишь у колодца лишнего глотка.

Сказать, что родня оказалась богатой. Солевар спросит, какая родня. Я назову имя, он пойдёт проверять. Через день весь двор будет знать, что никакой родни у бледного нет.

И четвёртое. Деньги не мои. Я при деньгах, но я не их хозяин.

Над этим вариантом я лежал дольше всего.

* * *

В Москве у половины фирм, которым я продавал рекламу, в учредителях сидели люди, которые понятия не имели, чем эти фирмы занимаются. Водители, тёщи, однокурсники. Номинальные директора. Настоящий хозяин был за кадром, где-нибудь на острове с хорошими налогами. Налоговая видела номинала. Бандиты видели номинала. Конкуренты видели номинала. Хозяина не видел никто, и поэтому до него никто не мог дотянуться.

Мне нужен был такой остров. Только не страна, а человек.

Человек, которому принадлежат мои деньги. Богатый, далёкий, недоступный. Такой, чтобы грабить его управляющего было глупо: у хозяина длинные руки и долгая память. Такой, чтобы богатство управляющего никого не удивляло: управляющий богача и должен быть при деньгах. И такой, чтобы его нельзя было проверить.

Последнее было главным. Хаджар стоял в сердце песков. До любого моря — недели смерти. Всё, что за морем, отсюда видно хуже, чем Луну.

Я сел, налил себе воды и стал собирать хозяина так, как когда-то собирал рекламную кампанию. Кто аудитория, что мы им говорим, чем доказываем, где слабые места.

Аудитория — весь Хаджар: купцы, роды, любопытные, жадные. Главное сообщение — деньги не мои. Доказательства у меня были лучше, чем у любой рекламы. Я действительно прошёл через сердце песков в рванье и действительно донёс золото. Азмарская чеканка, жемчуг. Нищий, который нёс состояние, — это не враньё. Это кейс. Его можно рассказывать.

Имя.

Мансуром я стал в Азмаре, потому что имя здесь — вывеска. Мансур значит победоносный, и это было эхо моего собственного имени, которого здесь не слышал никто. Хозяину тоже нужна была вывеска. Я перебрал с десяток имён, которые слышал в доме Джафара, и остановился на самом простом. Малик. На здешнем языке это значит владелец. Хозяин по имени Хозяин. Насир, мой старый злой учитель грамоты, сказал бы, что это слишком нагло. Но наглость в названии — самый дешёвый способ запомниться. Каждый, кто услышит имя, услышит и смысл.

Откуда. Из-за Восточного моря. Не с побережья, а дальше, с другого берега, из земли, где не бывал ни один хаджарец. На побережье, в жемчужном порту Джульфар, у него посредник. Джульфар я знал по книгам Джафара: оттуда шёл жемчуг, тот самый, что сейчас лежал у меня в поясе. Через посредника идёт вся торговля хозяина: жемчуг, ткани, пряности.

Почему Хаджар. Потому что на побережье тесно, а внутренние земли — пустой рынок. Это было правдой и поэтому звучало хорошо.

Почему хозяин не приедет. Стар. Никогда не ездит. Не любит, когда его имя говорят громко. Пишет редко.

Почему управляющий шёл нищим. Потому что хозяин велел провести золото через пески так, чтобы никто не догадался. Кто станет грабить нищего.

О семье хозяина — ни слова. Ни жён, ни сыновей, ни братьев. Каждая деталь легенды — это шов. Чем больше швов, тем больше мест, где можно порвать. Хорошая легенда — как хороший костюм: швов мало, и все на изнанке.

Потом я стал задавать себе вопросы, которые зададут другие. Это самая неприятная часть любой презентации, и самая полезная.

Почему у богатого купца управляющий — северянин? Потому что северянин ничей. Ему не к кому сбежать с хозяйскими деньгами, у него нет родни, которой их можно отдать. Чужак — самый верный человек у чужого сундука. Этому меня научил Азмар, и это было правдой.

Почему управляющий хромает? Потому что однажды его били за хозяйские деньги, а он их не отдал. Это было почти правдой: били меня в Варене, только денег у меня тогда не было вовсе.

Почему у него нет ни слуг, ни охраны? Потому что слуги болтают, а охрану видно изда-лека. Тихие деньги ходят тихо.

Ещё я решил пока не переодеваться. Управляющий богатого дома не ходит в рванье, это ясно. Но если бледный оборванец сегодня наденет хороший лён, а завтра пойдёт слух про хозяина, город решит, что это маскарад. Если сначала слух, а потом лён, город решит, что маскарад кончился. Порядок важнее содержания. Сначала история, потом костюм.

Я проговорил всё это про себя трижды, пока не перестал спотыкаться. Потом ещё раз — голосом управляющего: чуть устало, чуть свысока. Так говорит человек, который служит большому дому, знает себе цену, но выше хозяйской её не ставит.

Слабое место я видел и так. Одна ложь потребует других. Хозяин, который существует, должен иногда писать. Его деньги должны иногда приходить. Его воля должна иногда меняться. Выдумку придётся кормить, как живое существо.

Но это была проблема следующего месяца. Проблема сегодняшнего вечера сидела где-то в городе с одним глазом и пересчитывала моё серебро.

* * *

Он пришёл на закате.

Солнце ушло за стену, и двор сразу посинел. Хозяин разводил огонь под котлом, пахло дымом и бараниной, которая была не для нас. Погонщики сидели кружком у стены и спорили о цене на корм. Хамдан прошёл между ними, ни с кем не поздоровался и сел рядом со мной на циновку, не спрашивая разрешения. От него пахло солью и потом.

— Мир тебе, — сказал он.

— И тебе мир.

Мы помолчали. Он смотрел на огонь здоровым глазом. Белый смотрел куда-то мимо, в стену.

— Хорошая у тебя родня, — сказал он наконец. — Богатая.

— С чего ты взял?

— Видел. У Сайфа. — Он улыбнулся половиной лица. — Нищий, который идёт делить глиняную лачугу, к меняле не ходит. Ему нечего менять.

— Может, я продал лачугу.

— За день? — Хамдан покачал головой. — Я двадцать лет вожу соль в Хаджар. Здесь за день не продают даже козу.

Я посмотрел на него долго, как смотрят на человека, о котором решают — нанять или закопать. Он выдержал взгляд, но шея у него напряглась.

— Ты умный человек, Хамдан, — сказал я тихо.

Ему понравилось, что я помню его имя. Людям это всегда нравится.

— Умный, — согласился он.

— Тогда ты понимаешь, что некоторые вещи лучше не знать.

— Понимаю. — Он придвинулся. — Но если уж знаешь, лучше знать до конца.

Я вздохнул, как вздыхает человек, которого загнали в угол. Оглянулся на погонщиков. Наклонился к нему.

— Поклянись, что это останется между нами.

— Клянусь, — сказал Хамдан. — Глазом клянусь. — Он ткнул пальцем в здоровый. — Тем, который остался.

— Я не нищий, — сказал я. — Но и не богач. Я управляющий. Мой хозяин — купец Малик из-за Восточного моря. Он послал меня с золотом в Хаджар. Велел пройти через пески так, чтобы никто не догадался, что я несу. Кто станет грабить нищего?

Глаз Хамдана заблестел.

— И ты...

— Я дошёл. Ты сам видел.

— Видел, — прошептал он. — Видел, как ты пил по одному глотку. Как жаловался на родню. Клянусь, я верил. Все верили. Даже тот, жилистый, который потом лёг в бурю. Он же у тебя всё выпрашивал.

— Его работа была спрашивать, — сказал я. — Моя — отвечать.

Хамдан засмеялся беззвучно, тряся плечами. Ему нравилось оказаться внутри истории, которой не знает никто.

— А много привёз? — спросил он, и голос у него стал совсем тихим.

— Достаточно, чтобы хозяин заметил, если пропадёт хоть одна монета, — сказал я. — Он считает всё. Говорят, в прошлом году у него в Джульфаре пропал тюк шёлка. Через три месяца тот, кто его взял, плавал в протоке лицом вниз. — Я пожал плечами. — Так говорят. Я не проверял.

Хамдан облизнул губы. Страх и жадность на одном лице выглядят одинаково: человек облизывает губы.

— Зачем же хозяину твоему Хаджар? — спросил он. — Здесь ни моря, ни кораблей.

— Поэтому и Хаджар. На побережье тесно, там каждый финик уже чей-то. А здесь пусто. Хозяин хочет вложить деньги в здешнюю торговлю. Тихо, через верных людей, которые знают пески. — Я помолчал. — Соль, например.

Слово упало куда нужно. Хамдан перестал смеяться.

— Соль, — повторил он.

— Может быть. Если люди будут верные. — Я выпрямился и заговорил громче, обычным голосом, для погонщиков: — Ладно, хватит о ценах. Мне за твою соль всё равно платить нечем.

Он понял игру и ответил так же громко:

— Нечем так нечем. Бывай.

Пока он вставал, я вложил ему в ладонь дирхам.

— За молчание, — сказал я одними губами.

Хамдан сжал монету, поклонился так, будто я был его шейхом, и ушёл в синий вечер. В одном кулаке он нёс серебро, в другом — тайну.

Я лёг на циновку и закрыл глаза.

Лучший способ запустить слух — попросить его не распространять. Тайна, за которую заплатили, расходится быстрее бесплатной: человеку надо отбить вложенное. А Хамдану я заплатил целый дирхам.

Двор затихал. Погонщики доели свою лепёшку и легли вдоль стены, кто-то уже храпел. Я лежал и думал, что с этого вечера у меня есть начальник.

Двадцать лет в Москве я мечтал, чтобы надо мной никого не было. Гуров с его планом, совет директоров, клиенты, которые звонят в десять вечера. В Хаджаре я сам себе придумал начальника и сам отдал ему все свои деньги. У нового начальника было три удобных свойства. У него не было лица. Он ничего не прощал. И он всегда был прав, потому что его не существовало.

Завтра надо будет купить лён. Послезавтра — найти того, кто продаст дом человеку без рода. Без рода, но с хозяином.

* * *

Хамдан шёл домой длинной дорогой.

Он зашёл к торговцу солью, у которого сидел днём, и, понизив голос, взял с него клятву. Потом — к жене хозяина постоянного двора, которая брала у него соль для кухни. Потом к погонщикам у северного колодца. Каждому он говорил одно и то же: только тебе, никому больше, глазом клянусь. И каждый раз тайна в его руках становилась чуть тяжелее и чуть дороже, как монета, которую долго держишь в кулаке.

Он её не продавал, а раздавал понемногу, с клятвой. Так она стояла больше. Кто услышит тайну от Хамдана, запомнит, что Хамдан знает такие вещи. А кто знает такие вещи, тот нужен.

Дома, на кошке, он думал о соли. О своём караване на шесть верблюдов, на восемь, на деньги далёкого купца. Хамдан был скупой человек и мечтал скупой: не о дворцах, а о том, чтобы его вода всегда была его.

* * *

Проснулся я на рассвете и пошёл к корыту во дворе умыться. У корыта поили верблюдов погонщики, и один рассказывал другим, не замечая меня:

— Золото у него было зашито в подошвы.

— В какие подошвы. В пояс.

— В подошвы. Я сам слышал. А у хозяина его сорок кораблей.

— Сорок?

— Сорок. И все с жемчугом.

Я умылся, вытер лицо рукавом и ушёл, не дослушав. Сарафанное радио всегда округляет вверх. К вечеру у хозяина будет флот, к пятнице — свой остров. Это было хорошо и плохо сразу. Хорошо — потому что большого хозяина грабитель боится сильнее. Плохо — потому что большой хозяин интересен всем остальным.

Хозяин двора подошёл ко мне сам, когда я вернулся под навес.

Двадцать лет он держал этот двор и, наверное, двадцать лет ни к кому не подходил первым. Вчера он смотрел на меня, как на клопа, которому повезло с яйцами. Сегодня в его лице было новое. Не уважение — интерес. Так смотрят на вещь, которая вчера лежала в куче хлама, а сегодня на неё нашёлся покупатель.

— Господин управляющий, — сказал он и поклонился. Неглубоко, но поклонился. — Наверху есть комната. С окном во двор, с ковром. Плата та же. Из уважения к твоему хозяину. Значит, одной ночи хватило.

Я посчитал в уме. Хамдан ушёл после заката. К полуночи знали человек пять, к утру — двадцать. Жена хозяина узнала одной из первых, раз хозяин уже здесь. Хорошая скорость. В первой жизни я заплатил бы за такой охват.

— Из уважения к хозяину, — повторил я. — Хозяин не любит, когда о нём говорят.

— А никто и не говорит, — сказал хозяин двора с честным лицом. — Мы люди тихие.

Я позволил себе устало улыбнуться: знаю я вашу тишину. Он улыбнулся в ответ. Мы поняли друг друга, и оба остались довольны.

Комната наверху была маленькая, но чистая. Окно без стекла, с деревянной решёткой, выходило во двор. На полу лежал старый ковёр с вытертым узором, у стены стоял сундук с замком. За стеной не жевал верблюд. Впервые за месяц я подумал, что сегодня, может быть, выплусь.

Хозяин сам принёс мой узел. На завтрак его жена, не спрашивая, прислала четыре яйца. Без платы.

— Жена велела, — сказал хозяин. — Ты же любишь яйца.

Это я тоже запомнил. В Хаджаре к утру знали всё и про всех.

Он уже стоял в дверях, когда вспомнил:

— Да. Про тебя, кстати, спрашивали.

— Кто?

— Не назвался. Вчера днём. Худой такой, вежливый. Пальцы в чернилах. Спрашивал, кто ты, откуда, сколько платишь и чем.

— И что ты сказал?

— А что я скажу. — Хозяин пожал плечами. — Нищий с караваном. Платит медью. Хромает. — Он подумал и добавил: — Он ещё спросил, на какую ногу.

Хозяин ушёл. Я сидел на старом ковре над четырьмя бесплатными яйцами и не трогал их.

Вчера днём Хамдан ещё не открыл рта. Вчера днём я был нищим, каких в Хаджаре сотни. Никакого хозяина у меня тогда ещё не было.

Кто в этом городе расспрашивает о нищих — и записывает, на какую ногу они хромают?

Глава 3. Джар

Лён я купил на следующее утро. Сначала история, потом костюм. История уже ходила по городу, значит, настало время костюма.

Ряд тканей в суке был самым тихим. Здесь не кричали, как в мясном, и не ругались, как у верблюжьих сёдел. Ткань продают шёпотом: её щупают, мнут в пальцах, подносят к свету. Я выбрал две длинные рубахи из плотного льна цвета песка. Белое здесь носили на праздник и в мечеть, а цвет песка носили все. Головной платок, такой же, как у всех. Кожаные сандалии на толстой подошве. Пояс — простой, без ножен. Портной снял с меня мерку на хороший костюм и обещал через неделю.

Всё вместе вышло в три динара с мелочью. Я заплатил золотом, не торгуясь слишком долго. Управляющий богатого дома торгуется, но не до крови. До крови торгуются за свои.

Потом я разменял у Сайфа ещё два динара. Сайф встретил меня поклоном и отсчитал ровно двадцать дирхамов. Пять медяков за труд он с управляющего брать перестал. Слух работал даже на курсе обмена.

Потом был цирюльник. Он сидел у стены мечети на перевёрнутом ведре, с бритвой, ножницами и медным зеркалом. Подровнял мне бороду, снял волосы почти под ноль, помыл голову чем-то, что пахло травой и золой. Взял два дирхама. Протянул зеркало.

Из меди на меня смотрел управляющий. Худой, тёмный от солнца, с короткой бородой и светлыми глазами, которые здесь выдавали чужака лучше любой одежды. Не богач. Человек при богаче. Я повернул голову, проверяя профиль, как когда-то перед совещанием у Гурова.

Ребрендинг за одно утро и пять динаров. Дёшево.

* * *

Сахля я нашёл у того же колодца. Он стоял в очереди с пустым бурдюком и узнал меня не сразу. Потом узнал и посмотрел так же, как смотрел вчера: без удивления.

— Нанимаю тебя на день, — сказал я. — Два дирхама.

Водонос за день зарабатывал меньше. Сахль подумал, как думал всегда, всерьёз.

— Что делать?

— Ходить со мной по городу и рассказывать, кто где живёт.

— Про всех?

— Про роды. Кто сильный, кто богатый, кто старый. Кому ты носишь воду и сколько.

Он сунул пустой бурдюк под мышку и пошёл вперёд, не оглядываясь. Я пошёл следом.

Хаджар изнутри оказался больше, чем снаружи. За глухими стенами улиц прятались целые кварталы, у каждого свой колодец, своя мечеть, своя площадь, свои старики в тени. Сахль вёл меня переулками, где двое не разойдутся, и говорил коротко, как диктуют счёт.

— Здесь Хазимы. Род эмира. Им ношу шесть бурдюков на двор, у них свои колодцы, но мало.

— Богатые?

— Сильные. Богатые — те, у сука. Фадли, Джабры. Купцы. Им ношу по десять, они моются каждый день.

Он кивнул на тяжёлую дверь с медными гвоздями.

— Тут Тамиры. У них больше всех верблюдов и сабель. Ходят в набеги.

— На кого?

— На всех, кто не Тамир. — Он пожал плечами, как будто сказал о погоде. — Эмир их любит. Им воду не ношу. Они бьют водоносов.

Я шёл за ним и строил в голове таблицу. Водонос оказался лучшим аналитиком, какого я встречал на этом континенте. Он знал, сколько людей живёт за стеной, по тому, сколько воды они пьют. Знал, кто разбогател, потому что двор стал брать больше. Знал, кто беднеет, потому

что двор стал брать меньше. Сборщик налогов знает о доме меньше, чем водонос. Сборщику налогов врут.

Мне нужен был покровитель. Защита — тот же рынок, и правила на нём те же. Сильный род защитит, но съест: я стану его кошельком, а через год — его собственностью. Слабый род не защитит никого, даже себя. Нужен был род, у которого есть имя, но нет денег. Им нужны мои деньги. Мне нужно их имя. Идеальная сделка: обе стороны получают то, чего у них нет, и отдают то, чего у них в избытке.

— А кто здесь самый старый? — спросил я.

Сахль остановился. Впервые за утро он посмотрел на меня с интересом.

— Сувейды, — сказал он. — Их дед привёл в Хаджар воду. Выкопал первый колодец, когда здесь ещё не было стен. Каждый ребёнок знает.

— И как они теперь?

— Верблюдов у них меньше, чем у моего хозяина ослов. А гордости больше, чем у эмира. — Он подумал и добавил: — Шейх у них Ауад. Старый. Видит одним глазом. Кофе у него последний хороший в квартале. Мясо едят по пятницам.

— Откуда знаешь про мясо?

— Ношу им воду. Два бурдюка в день. — Сахль помолчал. — Раньше носил пять.

Два бурдюка вместо пяти. Я знал, что это значит. В моей первой жизни это называлось падением выручки на шестьдесят процентов.

— А свой колодец у них?

— Есть. Тот самый, первый. Рама сгнила два года назад, ворот сломан. Чинить не на что. Покупают воду, как все.

Род, который привёл в город воду, покупал воду у водоноса. Я остановился посреди переулка, и Сахль тоже остановился, ожидая.

— Покажи мне их квартал, — сказал я.

* * *

Квартал Бану Сувейд лежал в старой южной части Хаджара, и было видно, что когда-то он был лучшим. Стены здесь были выше, двери шире, над входами сохранились резные доски из привозного дерева, теперь серые и потрескавшиеся. Половина домов стояла с осыпавшейся глиной. В одном дворе не было крыши. На маленькой площади действительно был колодец: каменный сруб, тёмный и гладкий от веков, а над ним — остов рамы с переломленной балкой. Ворот лежал рядом в пыли, как кость.

Сахль объяснил мне правила, пока мы шли обратно. Говорил он с серьёзностью старика, который учит молодого.

— Придёшь в меджлис после вечерней молитвы. Сядешь, где покажут. Тебе нальют кахву. Пей и протягивай чашку снова. Когда хватит — качни ею вот так. — Он показал рукой, как покачивают чашку. — Не говори о деле, пока шейх сам не спросит. Если спросит — значит, слушает.

— А если не спросит?

— Значит, приходи завтра.

— А если нальют до краёв?

Он посмотрел на меня почти с уважением.

— Значит, тебя гонят. Пей и уходи.

Я дал ему три дирхама вместо двух. Он взял, не поблагодарив, но у колодца обернулся. Это у Сахля было высшей формой признательности.

* * *

Меджлис шейха Ауада был большой комнатой с глиняными стенами, вдоль которых лежали подушки. Ковры старые, все в аккуратных заплатах. Чистота такая, какая бывает только в бедных домах, где больше нечем гордиться. В углу горел небольшой огонь, и над ним стояли

три медных кофейника с длинными клювами, тёмные от времени. Пахло жареным зерном и кардамоном.

Когда я вошёл, молодой парень у огня толоч кофе в медной ступке. Пест ходил по стенкам ступки и звенел ровно, как колокол. Потом я узнал, что этот звон в пустыне слышен далеко и что он значит: здесь варят кофе, заходи. Сувейды толкли кофе каждый вечер, даже когда некому было заходить. Ритуал дорожает последним.

Я сказал приветствие с порога. Мне ответили. Старик в глубине комнаты повёл рукой, и я сел туда, куда он показал, — недалеко от входа. Место гостя без имени.

Ауад был сух, как ветка, которую давно не поливали. Белая борода, белые брови, левый глаз белёсый, мутный. Правый глаз смотрел на меня так внимательно, что хватало за оба. Вокруг сидели человек семь из рода, старые и молодые, в чистых, многократно стиранных рубахах.

Кофе разливал высокий парень лет двадцати четырёх. Красивый той резкой красотой, которой любят в песках: нос с горбинкой, тёмные глаза, крепкие белые зубы. Рубаха с заплатой на локте. На поясе меч в ножнах, которые стоили, наверное, дороже всего остального в этой комнате. Дедовский, понял я. Такие вещи не продают, даже когда едят мясо по пятницам.

Он подошёл ко мне с кофейником и чашкой — маленькой, без ручки, размером с ладонь. Посмотрел мне в лицо. И налил до краёв.

Кахва дрогнула у самого ободка. В комнате стало очень тихо. Кто-то из стариков кашлянул.

Я взял чашку двумя пальцами, не пролив ни капли, и выпил медленно, как пьют хороший кофе. Он был светлый, горький, с кардамоном и чем-то похожим на гвоздику. Действительно последний хороший кофе в квартале. Я допил и протянул пустую чашку обратно — не ему, а в пространство, как протягивают, когда ждут второй.

Парень не двинулся.

— Зейд, — сказал шейх Ауад негромко. Одно слово.

Зейд постоял ещё секунду, потом отдал кофейник мальчику у огня и вернулся на своё место. Мальчик налил мне как положено, на доньшко. Я выпил вторую. Потом третью. Потом качнул чашкой.

Шейх смотрел на меня одним глазом.

— Откуда ты, гость?

— Из Азмара, — сказал я. — Через сердце песков.

— Пешком?

— Пешком.

Шейх помолчал. Потом сказал, обращаясь не ко мне, а к комнате:

— Сакр говорил. Пришёл, говорит, бледный, пешком через большой перегон и ни разу не попросил лишней воды. Сорок лет, говорит, такого не видел. Я думал, Сакр стареет.

— Сакр не стареет, — сказал кто-то из стариков. — Сакр высыхает.

Засмеялись. Напряжение ушло, как вода в песок.

Старик с бородой, крашенной хной, наклонился ко мне через подушку.

— Говорят, у твоего хозяина сорок кораблей?

— Хозяин не считает свои корабли вслух, — сказал я. — И мне не велит.

Старик кивнул с таким видом, будто я подтвердил все сорок. Ауад заговорил о дороге, о колодцах, о буре, которая в этом году пришла рано. Говорил медленно, поговорками. Гость — пленник хозяина. Чужая вода сладкая, да носить далеко. Кто считает глотки, тот доходит. Я отвечал коротко и о деле не сказал ни слова. О хозяине — тоже. Они знали. Весь Хаджар уже знал.

Когда пили по последней, я поблагодарил, поднялся и ушёл. Зейд смотрел мне в спину. Я это чувствовал до самой двери.

* * *

Днём между двумя вечерами я считал, сколько стоит честь.

Это был не философский вопрос, а вопрос цены. Мало — оскорбление: значит, купец считает род нищим. Много — взятка: значит, купец считает род продажным. Правильная цена — та, у которой есть причина. Деньги не за людей, а за вещь, которой у людей нет и которую им стыдно не иметь.

Колодец подходил идеально.

Сахль отвёл меня к мастеру колодцев — старику, который чинил рамы и ворота во всём южном квартале. Мастер сидел в тени и строгал ось для ворота из куска тёмного привозного дерева. Я спросил, во сколько встанет починка колодца Сувейдов, если делать хорошо: новая рама, новый ворот, верёвки, ведра.

— Брёвна везут с побережья, — сказал мастер, не поднимая головы. — Два бревна на раму — шесть динаров. Ворот — три. Ось — два. Верёвки, ведра, работа — ещё пять или шесть. Динаров семнадцать, если не воровать.

— А если воровать?

— Тогда двадцать пять. — Он наконец посмотрел на меня. — Ты кто такой, чтобы чинить колодец Сувейдов?

— Человек, у которого есть семнадцать динаров, — сказал я.

Он хмыкнул и вернулся к своей оси.

Я округлил до двадцати. Три динара сверху — чтобы мастер не воровал, а шейху не пришлось считать. Цену чести я выяснил у плотника. В Москве для этого нанимали консультантов, и выходило дороже.

* * *

Второй вечер я пришёл не с пустыми руками.

Сахль донёс за мной до порога мешок лучших кофейных зёрен с юга и узелок кардамона. Подарки к кофе — это не взятка. Это уважение к огню. Я отдал мешок мальчику у очага, и тот понёс его к шейху так, будто нёс ребёнка.

Мне налили правильно, на донышко. Зейд у огня не стоял — сидел у стены, скрестив руки. Мы пили и говорили о буре. Потом шейх замолчал, и замолчали все. Я понял, что пора, и что он сам ждёт, когда я скажу.

— Шейх, — сказал я. — Мой хозяин, когда отправлял меня, дал мне наказ. В любом городе, сказал он, найди тех, кто первым принёс туда воду, и поклонись им. Потому что без них не было бы ни города, ни торговли, ни тебя в этом городе.

Это было враньё от первого до последнего слова. Но хорошее враньё говорит людям то, что они давно хотят услышать, и они проглатывают его, не жуя.

Я достал из рукава свёрток и положил его на ковёр перед собой. Не перед шейхом — перед собой.

— Здесь двадцать динаров. Это не тебе и не роду. Это колодцу. Хозяин велел починить его раму и ворот, чтобы вода Сувейдов снова была водой Сувейдов.

Двадцать динаров были для этой комнаты огромными деньгами. Год мяса не по пятницам, а каждый день. Я видел, как у стариков вдоль стен застыли лица — люди изо всех сил старались не смотреть на свёрток.

Шейх смотрел на меня. Долго.

— Купцы покупают всё, — сказал Зейд от стены. Голос у него был ровный и злой. — Даже честь.

— Честь не продают, — сказал шейх, не повернув к нему головы. — Её чинят. Как колодец.

Он кивнул мальчику, и мальчик взял свёрток с ковра и отнёс в глубину дома. Один из стариков вдоль стены поднялся и молча вышел. Потом я узнал, что он пошёл на площадь — постоять у сломанной рамы, мимо которой два года ходил, не глядя.

Только тогда я сказал главное.

— Шейх, я чужой в Хаджаре. У меня здесь нет никого. Я прошу твоей защиты.

— Ты пил мой кофе три раза за два вечера, — сказал Ауад. — Это уже немало. — Он поднял сухую руку. — С этого вечера ты наш сосед. Кто тронет тебя — тронет Сувейдов. Кто обманет тебя — обманет Сувейдов. Пусть весь Хаджар это знает.

Старики закивали, повторяя что-то вполголоса. Кто-то коснулся моего плеча. Мальчик налил мне ещё кофе, хотя я уже качал чашкой. Я выпил и эту.

В Москве девяностых это называлось крышей, и платили за неё каждый месяц. Здесь крыша называлась джар, и платили за неё один раз — уважением, которое на этот раз стоило двадцать динаров. Разница была в том, что московская крыша защищала, пока ей платили. А эта защищала, пока у Сувейдов оставалась честь. Я не знал, что надёжнее. Ставил на честь, потому что деньги кончаются быстрее.

* * *

Провожать меня вышел Зейд. Так велел шейх, и Зейд подчинился, но шёл на шаг впереди, не оборачиваясь, как ведут пленного. Ночной переулочек был тёмным и тёплым, глина ещё отдавала дневной жар. Где-то за стеной плакал ребёнок. Над крышами стояли крупные звёзды.

У ворот квартала Зейд остановился. Ростом он был на голову выше меня и смотрел сверху вниз.

— Ты думаешь, ты купил нас, — сказал он. — За двадцать монет и мешок зёрен.

— Я думаю, что починят колодец, — сказал я.

— Починят. — Он кивнул. — И весь Хаджар будет знать, что Сувейдам починил колодец чужой купец. Ты подумал об этом?

Я подумал. Об этом я подумал первым делом. Об этом он думал правильно, и это делало его опаснее всех стариков в той комнате.

— Дядя стар, — сказал Зейд тихо. — А я нет. Запомни, чей ты теперь.

Он повернулся и ушёл в темноту квартала, придерживая меч, чтобы не стучал о бедро.

Я стоял у ворот и смотрел ему вслед. У меня была защита древнего рода, лучший кофе в квартале и новый лён. И человек, который понимал меня лучше, чем мне хотелось.

Покровителя я выбрал правильно. Наследника покровителя я не выбирал.

Глава 4. Дом за глухой стеной

С джаром Сувейдов город открылся, как открывается банк, когда у тебя появляется поручитель. Те же люди, те же двери, но теперь за дверями со мной разговаривали.

Дом нашёл Сахль. Конечно, Сахль. Он носил воду вдове суконщика, который умер весной от лихорадки. Вдова продавала дом и перебиралась к брату. Последние две недели она брала у Сахля всего один бурдюк в день, и он понял это раньше, чем глашатаи.

Дом стоял в тихом переулке за суком, в пяти минутах от большой мечети. Глухая стена в переулок, высокая и ровная, без единой трещины. Выше соседских на два локтя — я заметил это сразу.

— Муж поднял, — сказала потом вдова, когда увидела, куда я смотрю. — Говорил: чем выше стена, тем тише деньги.

Покойный суконщик мне бы понравился. Тяжёлая дверь из тёмного привозного дерева, обитая железными полосами, с маленькой калиткой в правой створке. У двери в толще стены — ниша, где сидит привратник. Ниша была пустой.

Вдова Умм Халид встретила нас во дворе. Около пятидесяти, сухая, в тёмном, с лицом, на котором было написано, что она торговалась на рынке, ещё когда я ходил в детский сад. Рядом стоял её брат Хабиб — полный, сонный, нужный для приличия. Говорила она. Он кивал.

— Смотри, управляющий, — сказала она. — Смотреть бесплатно.

Я смотрел.

У входа — меджлис, большая комната для гостей с подушками вдоль стен. Гость попадал туда прямо с улицы и дальше не шёл. Чужим здесь не положено видеть, как живёт дом. За меджлисом — внутренний двор. Финиковая пальма, старая, с толстым чешуйчатым стволом. Гранатовое дерево. Грядки мяты. И посреди двора — колодец. Небольшой, по грудь, с деревянным воротом, который крутят руками. Свой.

Я подошёл и заглянул вниз. Глубоко, темно, и пахнет снизу холодом. Совсем не тем, чем пахнет Хаджар.

От колодца через весь двор шёл каменный жёлоб шириной в ладонь. Вода, которую вытягивали воротом, бежала по нему к грядкам, к гранату и дальше, через пролом под стеной, в маленький сад за домом. Боковая ветка жёлоба уходила в кухню. Кухня была с глиняной печью-тандыром, закопчённой до черноты. Кладовая. Наверх вела узкая лестница: одна большая комната с окном во двор, а над ней плоская крыша с низким парапетом. С крыши было видно полгорода: плоские крыши, пальмы за стенами, минарет большой мечети. И на возвышении к северо-западу — крепость эмира.

Я постоял на крыше. Здесь будут тренировки. Утром, пока не жарко, — отжимания, приседания с кувшином, подтягивания на балке навеса. Я поймал себя на том, что уже живу здесь, и выключил это чувство. Покупатель, который влюбился в дом, переплачивает.

* * *

— Сто десять, — сказала Умм Халид, когда мы спустились.

— Восемьдесят, — сказал я.

Брат Хабиб открыл рот и закрыл. Умм Халид даже не моргнула.

— Колодец, — сказала она. — Свой колодец в Хаджаре. Ты знаешь, сколько стоит вода у водоноса?

— Знаю. Медяк за бурдюк. — Я кивнул на ворот. — А ты знаешь, сколько стоит новая ось для ворота? Твоя треснула. И жёлоб течёт у пальмы, там мокрая глина. И крыша над кладовой просела. Зимой, когда пойдёт дождь, будет капать на мешки.

— В Хаджаре дождь идёт два раза в год.

— Значит, два раза в год будет капать на мешки.

Она усмехнулась. Мы начали торговаться всерьёз.

Торговаться с ней было удовольствием, какого я давно не получал. Она не давила, не жаловалась на вдовью долю, не клялась мужем. Она считала. Я называл недостаток — она называла достоинство того же размера. Я опускал на пять — она поднимала на три. В Москве я видел за столом переговоров сотни мужчин в дорогих костюмах, и половина из них не умела того, что умела эта женщина в тёмном платке посреди собственного двора.

Мы сошлись на девяносто. Она протянула руку ладонью вверх, как делают на рынке, и я хлопнул по ней.

— Девяносто, — сказала она. — Хорошая цена. Для тебя.

— Для хозяина.

Она посмотрела на меня внимательно. Брат Хабиб разглядывал гранат.

— Ты торгуешься, управляющий, будто это твои деньги, — сказала она негромко.

— Хозяин велел беречь его деньги как свои.

— Хорошо велел. — Она кивнула. — Только управляющие обычно берегут хозяйские деньги хуже своих. А ты бережёшь лучше.

Она поняла. Я видел, что она поняла. И видел, что ей всё равно. Девяносто динаров золотом весят больше, чем чужие тайны, а женщина, которая двадцать лет вела дела мужа из-за его спины, умеет молчать лучше, чем многие умеют говорить.

Брату Хабибу я дал динар за хлопоты с купчей. Умм Халид я не дал ничего. Ей было достаточно того, что я понял, что она поняла.

* * *

Купчую писали под навесом у большой мечети. Писец был молодой, с чёрными от чернил пальцами, и писал так быстро, будто боялся, что слова убегут. Дом в переулке за суком, с колодцем, со всем, что внутри стен, продан вдовой суконщика через её брата Хабиба Мансуру, управляющему купца Малика из-за Восточного моря, для его хозяина. Цена девяносто динаров золотом, уплачено полностью. Свидетели.

Свидетелем от Сувейдов пришёл Зейд. Шейх прислал его, потому что джар — это не только защита. Это ещё и подпись. Зейд встал перед писцом, назвал своё имя и имя рода, приложил палец к чернилам и к бумаге. На меня он не посмотрел.

— Дом Малика, — сказал он, когда писец посыпал запись песком. — А живёт в нём слуга.

— Управляющий, — сказал я.

— Слуга, — сказал Зейд. — Хорошо быть слугой у богатого. Можно жить в его доме.

Он ушёл. Писец сделал вид, что ничего не слышал, и протянул мне свиток.

Я отсчитал девяносто динаров на ковёр перед Хабибом. Хабиб пересчитал дважды, шевеля губами. Это были первые деньги, которые я потратил от имени человека, которого не существует. Я ждал, что почувствую что-нибудь. Не почувствовал. Деньги ушли легко, как уходят чужие.

Пальцы у писца были в чернилах. Как у всех, кто умеет писать в этом городе. Я подумал об этом и отложил.

* * *

Повара я сначала чуть не купил.

Маклер на невольничьем углу сука увидел меня издали. Новый лён, походка человека при деньгах, а слух о хозяине уже обошёл все ряды. Маклер вырос передо мной, как из-под земли, и заговорил так быстро, как говорят продавцы, которые боятся, что клиент передумает раньше, чем услышит цену.

— Повар, господин управляющий. С юга. Молодой, крепкий, варит, как в доме шейха. Двадцать динаров — и он твой навсегда. Зачем платить свободному динар в месяц? Двадцать месяцев — и раб окупился. А живёт он двадцать лет.

Посчитано было неплохо. Через двадцать месяцев раб действительно окупался, дальше шла чистая экономия. Любой финансист оценил бы такую модель.

— Людьми я не торгую, — сказал я. — Ни продаю, ни покупаю.

Маклер замолчал, впервые за минуту. Посмотрел на меня так, будто я сказал, что не дышу воздухом.

— Почему?

— Хозяин не велит.

Это было враньё. Хозяин не велел ничего, потому что хозяина не было. Это было моё. Черту я провёл ещё в Азмаре и ни разу её не пересчитывал. Единственная строка в моём балансе, где нет цифры.

Маклер пожал плечами и пошёл искать покупателя понормальнее. А я стоял в рядах и понимал, что стал заметнее ещё на одну строку. В Хаджаре в каждом богатом доме были рабы. Дом без рабов был так же замечен, как мужчина без кинжала. Я был замечен по обоим пунктам сразу.

* * *

Бахита привёл Сахль. Конечно, Сахль.

Бахит двенадцать лет варил в этом самом доме для покойного суконщика. Когда-то он был рабом, ещё у прежнего хозяина, в другом городе. Тот отпустил его перед смертью — за то, что двадцать лет Бахит варил ему по пятницам одно и то же блюдо, и хозяин ни разу не пожаловался. С тех пор Бахит был свободным и бедным. После смерти суконщика вдова не смогла держать повара. Он жил в углу у сука и варил на свадьбы.

Шестьдесят лет, полный, тёмная кожа, мягкий голос. Руки чистые, ногти коротко острижены. На кухне, в которой он двенадцать лет был хозяином, он двигался так, будто не уходил отсюда ни на день.

— Свари мне то, что варил суконщику по пятницам, — сказал я.

Он варил три часа. Я сидел во дворе под пальмой и слушал, как он работает. Скрип ступки, стук ножа, шипение жира, запах, который сначала был просто запахом жареного лука, потом стал запахом баранины, а потом стал чем-то, для чего у меня не было слов. В Сафре, в первой пустыне, я полюбил рис с бараниной. То, что поставил передо мной Бахит, относилось к сафрскому рису, как ресторан к столовой.

Рис рассыпчатый, каждое зерно отдельно, жёлтый от чего-то пряного. Баранина томилась так долго, что отходила от кости от одного взгляда. Сверху жареный лук, изюм, орехи. Кислое молоко с мятой в отдельной миске.

Я съел всё. Белка граммов шестьдесят, прикинул я машинально, и тут же перестал считать.

— Динар в месяц, — сказал я. — И стол.

— Суконщик платил динар без стола, — сказал Бахит.

— Значит, у меня тебе лучше.

Он поклонился. Неглубоко, с достоинством человека, который знает себе цену и ни на медяк её не завышает.

* * *

Привратника я нашёл на верблюжьем рынке за северными воротами.

Он грузил тюки на чужих верблюдов за дневную плату. Громадный, под два метра, с бритой головой и шрамом от левой скулы до самой челюсти. Тюк, который двое носильщиков поднимали вдвоём, он закидывал на верблюжий бок один, не меняясь в лице. Молчун из каравана. За всю дорогу через пески он не сказал и десяти слов.

Я подождал, пока он закончит, и подошёл.

— Работа нужна?

— Да.

— Привратником. В доме за суком.

— Сколько.

— Динар в месяц.

— Мало.

— И двадцать динаров в тот день, когда я живым уеду из Хаджара.

Он посмотрел на меня сверху вниз. Долго.

— А если мёртвым.

— Тогда ничего.

Он думал так долго, что носильщики успели загрузить ещё двух верблюдов. Потом кивнул.

— Да.

Одиннадцать слов. Я посчитал. Больше, чем за весь караван.

Схема оплаты была не щедростью, а уроком, который я выучил давно, по дороге в Ланн. Там у меня было двое громил, получивших плату вперёд. Их перекупили в первом же городе, и перекупили против меня. Наёмнику, которому заплатили всё сразу, выгоднее тебя продать. Наёмнику, которому главное заплатят в конце, выгоднее тебя довести. Двадцать динаров в конце делали мою жизнь самой ценной вещью в Хаджаре — для Бишра. Это была лучшая страховка из всех, что я мог купить.

Его звали Бишр. Имя он назвал уже у ворот дома, когда садился в нишу привратника. Сел — и ниша сразу стала маленькой.

— Почему согласился? — спросил я. — Динар в месяц и мало, ты сам сказал.

Он помолчал.

— Считать умею.

— И что насчитал?

Бишр посмотрел на мою хроющую ногу, потом мне в лицо.

— Ты дошёл, — сказал он. — Дойдёшь и дальше.

Сакр в песках решил про меня то же самое. Двое людей в этом городе поставили на то, что я выживу. Один — бесплатно, из любопытства. Другой — за двадцать динаров. Второму я доверял больше.

* * *

Следующие три дня я обставлял дом. Делал это так, как обставляют съёмную квартиру перед долгим проектом: только необходимое, но хорошее.

Ковры для меджлиса — два, не новые, но плотные, с тёмным узором, на котором не видно пыли. Подушки. Медные кофейники, три, как у Сувейдов, только светлые, с рынка. Чашки. Лампы. Тюфяк и одеяла наверх. Котлы и ножи для Бахита — он выбирал сам, и выбирал придирчивее, чем я выбирал дом. Мастер колодцев поставил новую ось на ворот. Плотник подпёр балку над кладовой. Ещё два льняных костюма от портного, хорошая ткань, никакого блеска.

Вышло пятнадцать динаров. Я записал каждый в книгу расходов хозяина: аккуратно, по дням, с ценами. Если когда-нибудь кто-нибудь спросит, куда управляющий дел хозяйские деньги, у управляющего будет ответ на бумаге.

* * *

Первый вечер в доме я провёл под пальмой.

Бахит принёс ужин. Бишр сидел в нише у двери и смотрел в переулок. Колодец во дворе отдавал прохладу, и вода в нём была холодной, как из холодильника, — я пил её кружку за кружкой, просто потому что мог. Над стенами темнело. Где-то кричал муэдзин, и его голос растворялся над крышами. За стеной в переулке прошли люди, громко говорили, засмеялись — и ушли. Стена отрезала всё.

Я сидел за глухой стеной, в собственном дворе, сытый, чистый, в новом льне, и мне было хорошо так, как не было ни разу за три жизни. Даже в первой. Там мне никогда не было хорошо — мне было удобно, а это другое.

Ночью, когда Бахит ушёл спать в каморку при кухне, а Бишр задремал в своей нише, я вышел во двор с лампой. Бишр спал сидя, как спят верблюды, и, как я потом узнал, просыпался от любого шага в переулке. От шагов во дворе он не просыпался. Двор был мой. Прошёл вдоль жёлоба. Там, где жёлоб уходил под стену сада, кладка была старая, и один камень над ним, размером с два кирпича, шатался. Я заметил это ещё днём, когда смотрел на мокрую глину у пальмы.

Я вынул камень. За ним была полость — сухая, глубиной в локоть. Видимо, строители когда-то оставили там пустоту, чтобы не тратить глину.

Я сходил наверх и вернулся с двумя свёртками. Кожаный мешочек с лучшим жемчугом — окатым, чистым, крупным. Свёрток с шестьюдесятью динарами золотом. Это был мой неприкосновенный запас. О нём не знал никто. Даже Малик.

Остальные деньги — двести пятнадцать динаров золотом — лежали наверху в сундуке с замком. Это были деньги хозяина: на дом, на дело, на тех, кто будет спрашивать. Мелкий жемчуг остался у меня в поясе. Всё остальное — в стене.

Я вставил камень на место и присыпал щель землёй с грядки. Утром Бахит польёт мяту, и никто не увидит, что камень трогали.

С этой ночи у меня было две бухгалтерии. Одна — хозяина: дом, сундук, книга расходов, всё, что видит город и о чём можно спросить. Другая — моя: камень над жёлобом. В Москве это называлось двойной бухгалтерией, и за это сажали. Здесь это называлось осторожностью.

Хаджар этот запас не увидит. Это я решил твёрдо.

* * *

Утром Бахит принёс завтрак на крышу, где я заканчивал отжимания. Двадцать пять подряд, без дрожи. Через неделю будет тридцать.

Яйца, кислое молоко, финики, горячая лепёшка из тандыра. Бахит поставил поднос на парапет и не ушёл.

— Господин управляющий, — сказал он мягко. — А хозяин-то когда приедет? Чтобы знать, сколько брать риса.

— Хозяин не ездит, — сказал я. — Никогда. Вари на двоих. На меня и на Бишра.

Бахит кивнул, вытер руки о передник и спустился на кухню.

Я ел на крыше, глядя на город. Рис в тот день был лучше, чем вчера. Я сидел в тени собственной стены и думал, что дом — это не стены. Дом — это люди, которые в нём живут.

А людей в этот дом я выбирал сам.

Глава 5. Чужие руки

Через неделю у меня был режим. Обычно это слово говорят люди, которые его не соблюдают. Здесь режим соблюдал меня.

Я вставал до света, когда муэдзин ещё только откашливался перед утренним азаном. Поднимался на крышу. Воздух в этот час был единственный раз за сутки прохладным — градусов двадцать пять, почти холодно после дневного зноя. Город лежал внизу серый, без теней, и над минаретом висела бледная звезда.

Отжимания: пять подходов, в первый день по двадцать пять, к концу недели по тридцать. Приседания с кувшином воды на плечах — кувшин Бахит выбрал мне сам, килограммов на пятнадцать, и наполнял до горла. Подтягивания на балке навеса: шесть раз в первый день, семь к концу недели. Балка скрипела, и Бишр внизу поднимал голову.

Потом завтрак. Яйца — теперь свои: Бахит завёл на крыше шесть кур, и они смотрели на мои отжимания с тем же недоумением, что и хозяин постоянного двора. Кислое молоко. Финики. И верблюжье молоко — его приносил по утрам в переулок старик с дойной верблюдицей на верёвке. Он доил её прямо у моей двери в мою медную миску, и молоко было тёплым, пенным, солоноватым. Я пил его стоя, пока старик ждал медяк. В Москве такое продавали бы в бутылках с картинкой и словом фермерское за цену хорошего обеда.

Утро — сук. Я ходил по рядам, пил кахву у знакомых торговцев, слушал.

Слушать — тоже работа, и в Хаджаре её делали за чашкой. У входа в ряд пряностей сидел продавец кахвы с жаровней и тремя кофейниками. Вокруг него к середине утра собирались купцы: рассаживались на корточках в тени, держали чашки двумя пальцами и говорили обо всём. О цене на верблюдов перед осенним сезоном. О том, что эмир поднял сбор с караванов. О том, что Тамиры опять увели у кого-то скот, и о том, что эмир опять сделал вид, что не слышал. О дожде, которого не было три года.

Я сажился с краю и молчал. На третий день со мной начали здороваться. На пятый — спрашивать.

— Управляющий, а хозяин твой — правда из-за моря?

— Правда.

— И что он хочет в Хаджаре?

— Того же, что и вы, — сказал я. — Чтобы деньги не лежали.

Купцы засмеялись и закивали. Это был правильный ответ. Он ничего не сообщал и всем нравился. Днём, когда город умирал от жары, спал в комнате наверху. Вечером — рис Бахита под пальмой. Ночью, когда комнату нагревало за день, как печь, спал на крыше, на тюфяке, под звёздами. Здесь все спали на крышах летом. Город ночью был плоским полем спящих людей под небом. С соседней крыши доносился храп, с дальней — плач младенца, где-то спорили шёпотом муж и жена. Стены, которые днём прятали всё, ночью не прятали ничего. Хаджар держал тайны только при свете.

Я лежал на спине и считал звёзды, пока не сбивался. Потом считал деньги. Деньги не сбивали.

За две недели я вернул три килограмма. Лицо перестало быть черепом. Рубахи, сшитые на худого, сели как надо.

Это было хорошо. Это было то, ради чего я прошёл пески. Я повторял себе это каждый вечер, как повторяют пароль.

И каждое утро на рынке ловил себя на том, что считаю чужие деньги.

* * *

Двести пятнадцать динаров лежали в сундуке наверху и ничего не делали. Каждый месяц из них уходило динаров пять на дом, еду, людей. Деньги, которые не работают, кончаются. Это я знал ещё с первой главы своей здешней жизни. Пора было их пускать.

Как это делается законно, я пошёл узнавать к писцам под навес у мечети. Выбрал не молодого, который писал мою купчую, а старого, седого, с бельмом на глазу и голосом человека, который продиктовал на своём веку тысячу договоров и ни одного не забыл. Заплатил ему дирхам за разговор. Он счёл это щедростью и разговорился.

— Мудараба, — сказал он. — Ты даёшь деньги. Он даёт руки и голову. Торгуется, возит, продаёт. Прибыль делите, как написано. Половина на половину, или треть тебе, две трети ему, как сговоритесь.

— А убыток?

— Убыток твой. — Старик пожевал губами. — Он теряет труд. Ты теряешь деньги. Так справедливо: у каждого своё.

— А если он скажет, что убыток, а убытка не было?

— Тогда иди к кади с книгами и свидетелями. — Старик посмотрел на меня бельмом, и показалось, что именно бельмом он видит лучше. — Ты сосед Сувейдов, я слышал. Хорошо. Без соседства и не ходи.

Я записал всё в голове. Мудараба. Венчурное инвестирование без права голоса, как сказали бы в моей первой жизни. Ты даёшь деньги, а дальше сидишь и ждёшь, что тебе расскажут. Контроль — только через отчёт и через страх. Отчёт можно нарисовать. Страх можно купить у Сувейдов.

Значит, контроль надо было строить самому. Я думал об этом вечер и придумал три вещи. Отчёт раз в месяц — письменный, у писца, чтобы цифры нельзя было потом переговорить. Свидетель от Сувейдов при каждой крупной сделке — чтобы обман партнёра становился обманом рода. И водоносы. Сахль и его приятели заходили во дворы всех моих будущих партнёров. Они видели, сколько у партнёра людей, новые ли у его жены браслеты, режут ли у него барана по пятницам. Аудит через водоносов. В Москве за такое платили аудиторским фирмам, и фирмы видели меньше.

Я решил разложить деньги на три корзины. Это называется диверсификацией портфеля, об этом пишут в каждом журнале для начинающих инвесторов. Здесь это называлось старой поговоркой, которую я услышал от того же писца: не держи всю воду в одном бурдюке.

Первая корзина — пустыня. Высокий доход, высокий риск. Вторая — земля: средний доход, риск от погоды и от людей. Третья — рынок: доход маленький, зато видно каждый день.

По сорок динаров в каждую. Сто двадцать. Ещё девяносто пять оставались в сундуке — на жизнь и на случай.

* * *

Пустыня пришла ко мне сама. Она пахла солью.

Хамдан появился в меджлисе на третий день после того, как я переехал. Он ждал этого со дня нашего разговора на постоялом дворе — я видел это по тому, как он вошёл: быстро, но стараясь, чтобы было медленно. В руках он держал серый брусок соли, перевязанный лыком. Подарок.

— Для кухни, — сказал он. — Лучшая соль в песках. С Белого озера.

Бахит забрал брусок и унёс, понюхав по дороге. По его лицу я понял, что соль действительно хорошая.

Мы пили кахву. Хамдан говорил быстро, проглатывая окончания, как человек, который долго держал речь в себе и теперь боится не успеть. Соляные озёра в двенадцати днях пути. Соль там берут почти даром — плати роду, который сидит у озера, малую долю. В дальних оазисах на юге соль стоит вдвое, а в засуху втрое. Восемь верблюдов, нанятых, а не купленных. Шесть недель туда и обратно. Пятьдесят динаров на всё.

— Сорок, — сказал я.

— Сорок пять.

— Сорок. И половина прибыли хозяину.

— Половина? — Хамдан прищурил здоровый глаз. — Я иду в пески. Я рискую шкурой.

— А хозяин рискует сорока динарами. Твоя шкура стоит дешевле, Хамдан. Это я тебе как друг говорю.

— А набег? — спросил я. — Говорят, Тамиры опять ходят.

— Тамиры в этом сезоне ходят на север, к пастбищам. — Хамдан махнул рукой. — На юге тихо. Я двадцать лет хожу этой дорогой. Меня грабили дважды, и оба раза я знал, что будут грабить. В этот раз не будут.

— Откуда знаешь?

— Чую, — сказал он и постучал пальцем по носу. — Соль я тоже нюхом выбираю.

Он засмеялся беззвучно, тряся плечами, как в тот вечер на постоялом дворе. Он торговался по привычке, а не всерьёз. Шесть недель с чужими деньгами в кармане — это больше, чем он заработал бы за год со своими.

Почему Хамдан? Потому что соль — хороший товар. Её едят все, и она не гниёт. Потому что Хамдан двадцать лет возил её и знал дорогу. И потому что человека, который знает обо мне больше, чем нужно, лучше держать при прибыли. Шантажист, которому платят из твоего дела, бережёт твоё дело, как курицу, которая несёт ему яйца.

Договор записали у старого писца. Свидетели — двое из Сувейдов, которых Зейд прислал с таким лицом, будто посылал их убирать навоз.

* * *

Землю мне продали улыбкой.

Нафи нашёл меня в суке, у лавки с финиками. Ему было около сорока, он был полный, потный, весь в улыбке, как в масле. Пальмовая роща у него была за южными воротами — сто двадцать деревьев, своя доля воды из канала, который вёл от колодцев рода. Урожай созревал к концу лета. Но до урожая надо было платить: людям, которые лезут на пальмы и опыляют цветы, людям, которые чистят канал, за воду, которую в засушливый год продают дороже. Денег у Нафи не было. Был закупщик с побережья, который давал деньги вперёд, но за весь урожай по цене вдвое ниже рыночной.

— Он меня душит, — сказал Нафи, улыбаясь. — А твой хозяин, говорят, человек справедливый.

Я поехал смотреть рощу. Взял с собой Сахля.

Роща была настоящей. Сто двадцать пальм, я пересчитал. Канал с водой в глиняных берегах, тонкий, как жила. На пальмах сидели люди, привязанные к стволам верёвочными петлями, и что-то делали с гроздьями наверху. Под пальмами было на десять градусов прохладнее, чем в городе. Пахло сырой землёй — запах, который в Хаджаре стоил денег.

— Сколько корзин даёт пальма? — спросил я Нафи.

— В хороший год — пять. В плохой — три.

— А этот какой?

— Будет хороший, — сказал Нафи и улыбнулся так широко, что я пересчитал пальмы ещё раз.

— А закупщик с побережья? Если он снова придёт?

— Сабит? — Нафи сплюнул в канал. — Пусть приходит. Я ему уже сказал: мой урожай теперь под купцом Маликом. Пусть ищет дураков в другой роще.

Сказал он это слишком охотно. Люди, которые рвут с выгодным покупателем, обычно жалеют об этом хоть немного. Нафи не жалел совсем.

Сахль, пока мы ходили, болтал с работником у канала. На обратном пути я спросил, что он узнал.

— Нафи платит работникам в срок, — сказал Сахль. — Воду в этом году дают нормально. Саранчи не было уже три года.

— А закупщик с побережья?

— Приезжал. Нафи его выгнал. Громко. Все слышали.

Громко — это мне не понравилось. Если человек ссорится громко, значит, хочет, чтобы все слышали. Но роща была настоящей, вода текла, и сто двадцать пальм в хороший год давали шестьсот корзин.

Сорок динаров под урожай. Нафи платит работникам и за воду, к концу лета собирает урожай. Финики продаём в суке, после вычета расходов прибыль пополам. Договор у старого писца. Свидетели от Сувейдов.

* * *

Рынок я выбрал самый скучный.

Юсуф торговал льном в том самом ряду, где я купил свои первые рубахи. Ему было около шестидесяти, он был медленный, как черепаха, и честный, как весы, которые недавно проверял кади. Брал полотно с караванов с побережья, продавал в розницу. Наценка небольшая, оборот небольшой. Он никогда не разорялся и никогда не богател. За тридцать лет у него не было ни одного громкого скандала. Это я знал от Сахля, который носил Юсуфу воду двадцать лет, ещё до того, как родился.

То есть носил воду его отец. Сахль сказал это с такой серьёзностью, что я не стал поправлять.

— Сорок динаров, — сказал я Юсуфу. — В полотно. Прибыль раз в три месяца, треть хозяину.

— Треть — мало для хозяина, — сказал Юсуф медленно.

— Хозяину не нужно много. Хозяину нужно надёжно.

Юсуф подумал. Думал он так, как ходят верблюды по песку: медленно, но не останавливаясь.

— Тогда я тебе буду показывать книги, — сказал он наконец. — Каждый месяц. Чтобы надёжно.

Книгу он показал мне сразу, не дожидаясь договора. Толстая тетрадь из грубой бумаги, сшитая суровой ниткой, страницы жёлтые от времени. Каждый тюк — дата, у кого купил, за сколько, кому продал, за сколько. Почерк мелкий, ровный, без помарок. Тридцать лет торговли в одной тетради. Я листал её минут десять и не нашёл ни одной цифры, которая врала бы. В Хаджаре это была первая такая книга, которую я держал в руках. В Азмаре я видел две, и одну из них вёл я сам.

Это был единственный партнёр, который сам предложил мне отчётность. За такого партнёра держатся двумя руками. В портфеле всегда должен быть один скучный актив. Скучный актив — это тот, который ты не проверяешь по ночам.

* * *

Через десять дней деньги ушли работать.

Хамдан с восемью наёмными верблюдами вышел из южных ворот на рассвете. Я стоял на крыше и видел, как цепочка уходит в розовую пыль. Нафи заплатил работникам и ходил по суку гоголем. Юсуф купил с каравана два тюка полотна и выставил их так, что из-за них его лавку стало видно с другого конца ряда.

Сто двадцать динаров хозяина работали. Девяносто пять лежали в сундуке. Мой запас лежал в стене. Я сел вечером под пальмой с книгой расходов и в первый раз за много месяцев записал в неё не только то, что ушло, но и то, что придёт. Ожидаемая прибыль. Сроки. Риски.

Цифры были хорошими. Я смотрел на них, как смотрят на фотографию отпуска, в который ещё не уехал.

Процент. Тот самый. Деньги работают, а ты нет. Я сделал это. Через две недели после того, как меняла у ворот объяснил мне, что это невозможно.

Я позволил себе один вечер гордости. Бахит принёс курицу, тушённую в кислом молоке, и я съел её целиком.

— Хозяин будет доволен? — спросил Бахит, забирая пустое блюдо.

— Хозяин всегда доволен, когда деньги работают, — сказал я.

— А сколько их работает, господин управляющий?

— Сколько нужно.

Бахит понимающе кивнул, как кивают люди, которые спросили из вежливости, и ушёл на кухню. Я посидел ещё. Над стеной поднималась луна, круглая и жёлтая, как динар. Бишр в своей нише точил о камень что-то маленькое и не смотрел в мою сторону.

* * *

На следующий день, ближе к полудню, в ворота постучали.

Бишр открыл калитку, посмотрел, впустил. В меджлис вошёл толстый человек в дорогом шёлке, весь в перстнях, надушенный так, что запах розового масла добрался до меня раньше, чем он сам. За ним мальчик нёс маленький ларец.

Он сел на подушки, не дожидаясь приглашения, и улыбнулся мне, как улыбаются коллеги, которые встретились на чужой территории. Перстней на его пальцах было семь. Я сосчитал машинально. В пяти из них сидел жемчуг — не крупный, но такой ровный и чистый, что любой понимающий человек сразу видел: этот человек может позволить себе носить на руках то, что другие продают.

Мальчик поставил ларец у его колена и отошёл к стене.

— Дарвиш, — сказал он. — Жемчуг. Из Джульфара, с Восточного моря. Двадцать лет живу в Хаджаре, но родился там, на берегу. — Он принял чашку кахвы из рук Бахита и не стал пить. — Я знаю все торговые дома того берега, управляющий. Всех, кто покупает, всех, кто продаёт, всех, кто возит за море.

Он сделал паузу. Улыбка стала шире, а глаза — уже.

— Который из них Малик?

Глава 6. Тот самый Малик

Есть вопросы, на которые нельзя отвечать. На них можно только ответить вопросом подороже.

Дарвиш сидел на моих подушках, держал мою чашку и ждал. Розовое масло стояло в меджлисе, как туман. Мальчик у стены смотрел в пол. Бахит застыл в дверях кухни с кофейником, и я видел краем глаза, что он не уходит.

Это был первый человек в Хаджаре, который мог меня проверить. Не потому что был умнее других. Потому что родился там, откуда, по легенде, шли мои деньги. Он знал Джульфара, как я знал Москву: кто с кем дружит, кто кому должен, у кого лодки, а у кого только долги за лодки. Соври ему одно имя — и он скажет, что такого нет. Соври второе — он скажет это громко, в суке, за кахвой, и к вечеру весь Хаджар будет знать, что хозяин управляющего живёт там же, где джинны.

Вариантов было три. Защищаться — проиграю: я знаю Джульфара по книгам, он по жизни. Уходить от ответа — он поймёт, что мне есть что прятать. Значит, оставалось третье.

— Ты задаёшь хороший вопрос, Дарвиш, — сказал я. — Только не тому человеку.

— Почему не тому?

— Потому что хозяин платит мне за молчание больше, чем ты заплатишь за слова.

Он засмеялся. Смех у него был мягкий, булькающий, как вода в кальяне. Он поставил чашку, так и не отпив.

— Хорошо сказано. Но ты понимаешь, управляющий, что на берегу я знаю всех. Если твой хозяин торгует жемчугом через Джульфара, я о нём слышал.

— Мой хозяин не торгует через Джульфара, — сказал я. — Он торгует через человека в Джульфаре. А этот человек торгует со всеми. С тобой, может быть, тоже.

Это было правдой в том смысле, в каком правдой бывает любая хорошая реклама. В Джульфаре действительно были посредники, которые брали товар у людей из-за моря и продавали его всем. Я знал их по книгам Джафара. Знал даже, как они записывают свой жемчуг.

— Жемчуг у хозяина хороший? — спросил Дарвиш как бы между прочим.

— Не даана, — сказал я. — Даана хозяин не продаёт, даана он держит. Но первый сорт, ровный.

Дарвиш перестал улыбаться. Даана — так на берегу называют крупную безупречную жемчужину, одну на тысячу. Это слово я прочитал в книгах Джафара, где ему была отведена отдельная графа. Человек, который знает это слово и говорит его без нажима, или торговал жемчугом, или служит тому, кто торгует.

Он поверил не до конца. Но засомневался в своём сомнении, а мне больше и не было нужно.

— Посредник твоего хозяина, — сказал он осторожно, — он из старых домов? Из тех, что у протоки? Или из новых, что пришли с юга?

— Ты опять спрашиваешь не того человека, Дарвиш.

— А кого мне спрашивать?

— Никого. — Я налил ему кахвы сам, хотя Бахит стоял рядом. Хозяин наливает гостю, когда хочет сменить тему. — Лучше скажи мне, кто в Хаджаре покупает жемчуг. Ты двадцать лет здесь. Ты знаешь.

Он знал. И ему нравилось, что я спрашиваю, — людям, которые много знают, всегда нравится, когда их спрашивают. Жемчуг в Хаджаре покупали на свадьбы. Махр — дар жениха невесте — у знатных родов был без жемчуга неполным, как свадьба без барана. Покупали жёны эмира, через евнуха, по ценам, о которых Дарвиш говорил шёпотом. Покупали купцы у сука,

когда хотели спрятать деньги: жемчуг лёгкий, тихий, его не видно в поясе. Последнее Дарвиш сказал, глядя мне прямо в глаза.

Я кивнул, как кивают на скучную новость.

За четверть часа я узнал, какие роды в этом году женят сыновей, у кого из купцов лишние деньги и сколько стоит в Хаджаре жемчуг, который на берегу отдают за бесценок. Дарвиш пришёл меня проверять, а провёл для меня маркетинговое исследование. Бесплатно.

* * *

— У меня к тебе дело, — сказал я, пока он думал. — От хозяина.

Я достал из пояса маленький свёрток и развернул его на ковре между нами. Пять жемчужин. Не из стены — из пояса, мелочь, которую я оставил при себе как раз для таких разговоров. Но мелочь честная: круглые, чистые, с тем тёплым внутренним светом, за который на берегу ныряют до крови из ушей.

— Хозяин хочет знать, сколько Хаджар платит за жемчуг, — сказал я. — Продай эти. Пятая часть — тебе.

Дарвиш взял одну жемчужину двумя пальцами и поднёс к свету, к открытой двери во двор. Покатал по ладони. Положил на тёмный рукав и посмотрел сбоку, прищурившись. Потом взял вторую. Делал он это так, как я когда-то смотрел на финансовый отчёт клиента: быстро, привычно и безжалостно.

— Восточные, — сказал он наконец. — Хорошие. Не лучшие, но хорошие. Это Джульффар, я чую по блеску. — Он поднял на меня глаза. — Наши ныряльщики достают такой у северных отмелей.

— Значит, ты сам знаешь, сколько он стоит.

— Знаю, сколько он стоит там. Здесь он стоит дороже. Здесь его меньше.

— Вот это хозяин и хочет знать.

Дарвиш завернул жемчужины обратно в свёрток и положил его в свой ларец. Медленно, как кладут что-то, о чём ещё не решили. Потом решил — я видел это по тому, как он закрыл крышку.

— Пятая часть, — сказал он. — Договорились.

Пятая часть комиссии с пяти жемчужин — копейки для человека в семи перстнях. Дело было не в деньгах. С этой минуты Дарвиш зарабатывал на хозяине. Каждый медяк, который он получит с продажи, будет медяком от Малика. Если Малика нет, то Дарвиш продавал жемчуг самозванца и брал с этого долю. Человек, который может тебя разоблачить, должен стать пайщиком. Тогда разоблачение ударит и по нему. В Москве так приглашали в совет директоров журналиста, который копал под компанию.

Мы допили кахву. Дарвиш расспросил про дорогу через пески, вежливо и без интереса, похвалил кардамон, похвалил Бахита, спросил, не продам ли я Бахита. Я сказал, что Бахит свободный. Дарвиш удивился и не поверил, но спорить не стал.

Ушёл он довольный. Розовое масло стояло в меджлисе до вечера.

* * *

Дарвиш шёл через сук, и мальчик с ларцом семенял сзади.

Он думал о жемчуге. Жемчуг был настоящий, это он знал точно, — двадцать лет на берегу и двадцать в Хаджаре научили его не ошибаться с жемчугом. А хозяин бледного мог быть настоящим, а мог и не быть. Дарвиш взвесил одно и другое, как взвешивают на маленьких весах, и вышло, что разница его не касается. Если Малик есть, у Дарвиша будет доля с его жемчуга на годы вперёд. Если Малика нет, жемчуг всё равно настоящий, и доля всё равно его. Настоящая жемчужина в руке стоит больше, чем правда о человеке за морем. Дарвиш решил, что верит. Верить было выгоднее.

* * *

Следующая неделя была лучшей в моей здешней жизни. Я записываю её подробно, потому что таких недель потом было мало.

Портной принёс костюм. Длинная рубаша из плотного светлого льна, тонкий халат поверх, без вышивки, но так ладно скроенный, что даже Зейд, встретив меня у мечети, задержал взгляд на секунду дольше, чем стоило.

— Хорошо сшито, — сказал он. — Хозяин платит?

— Хозяин.

— Повезло хозяину со слугой, — сказал Зейд. — Слуга одевается лучше, чем шейх, который его защищает.

Он ушёл, не дожидаясь ответа. Я посмотрел на свой халат. Два динара. Самые правильные два динара, которые я потратил за год, и при этом, как выяснилось, ошибка. В Хаджаре нельзя было одеваться лучше своего покровителя. Это я записал в голове рядом с яйцами и кинжалом. Следующий костюм я заказал на полтона темнее и без халата.

Цирюльник у мечети теперь стриг меня раз в неделю и брал по старой цене, хотя я видел, как он берёт с других вдвое меньше. В баню у большой мечети — одну на весь город, для тех, кто может заплатить, — я ходил дважды в неделю. Горячий пар, каменная скамья, банщик с грубой рукавицей, который снимал с меня кожу вместе с песком, которого, казалось, уже не осталось. После бани я лежал в прохладной комнате, пил воду с лимоном и смотрел в потолок. Ни о чём не думал. Это было новое ощущение.

Еда. Утром яйца с крыши и верблюжье молоко из переулка. Днём белый солёный сыр, который делали из козьего молока в квартале Хазимов, с лепёшкой и огурцом. Вечером рис Бахита: в понедельник с бараниной, во вторник с курицей, в среду с бараниной снова, потому что я так велел. Бахит однажды принёс жареную саранчу — её продавали мешками, когда она шла, сушёную, солёную, хрустящую, — и посмотрел, стану ли я есть. Я стал. Чистый белок, хрустит, как чипсы. Бахит после этого смотрел на меня с уважением, какого не было даже после истории с поваром-рабом.

На крыше — отжимания по тридцать в подходе, восемь подтягиваний. За неделю я прибавил ещё килограмм. Ноги стали крепче, хромота меньше. Я спал по девять часов. Сны не снились.

Это был отпуск. Первый настоящий отпуск в моей жизни, считая все три.

На пятый день я понял, что отдыхать не умею.

Я понял это утром, на рынке, когда поймал себя у лавки с кофейными зёрнами. Я стоял и мысленно переставлял мешки. Зерно лучшего сорта лежало в глубине, худшее — у входа, потому что так удобнее ворочать мешки. Покупатель видел худшее и шёл мимо. Если поставить лучшее у входа и открыть мешок, чтобы пахло, — продажи вырастут вдвое. Мне за это никто бы не заплатил. Мне это было не нужно. Но я стоял и считал.

Я ушёл из ряда и пошёл за северные ворота. Туда, где ревело с рассвета.

* * *

Верблюжий рынок я знал по звуку с первого дня, но ни разу на нём не был.

За северными воротами лежало утоптанное поле размером с несколько футбольных, если считать по-моему. На нём стояли загоны из жердей и пальмовых листьев, сотни верблюдов, тысячи людей, и над всем висела пыль, рыжая и густая, как туман над рекой в октябре. Пахло навозом, мочой, потом, дымом. Ревели верблюды. Кричали люди.

Я встал в тени у загона и смотрел.

Бедуин в чёрном продавал верблюдицу человеку из города. Торговались они так, будто убивали друг друга. Бедуин клялся отцом, матерью, бородой и богом, что верблюдица молодая, что идёт по песку, как по воде, и что такой не было у его деда. Покупатель плевал, отворачивался, уходил, возвращался. С ним был свой знаток — старик, который лез верблюдице в рот,

щупал ноги, заглядывал под хвост. Наконец хлопнули по рукам. К ним сразу подошёл грузный человек с бородой, крашенной хной, и его писец что-то записал и взял с обоих по монете.

— Абу Джасим, — сказал рядом погонщик, которого я не спрашивал. — Старейшина рынка. С каждой сделки — его медь.

В углу поля у другого загона кричал человек, который купил верблюда вчера. Верблюд лёг ночью и не встал. Человек тряс продавца за рубаху и требовал деньги назад. Продавец разводил руками. Вокруг собралась толпа, но смотрели не с сочувствием, а с интересом, как смотрят на драку.

— Купил — твоё, — сказал погонщик с удовольствием. — Пал — твоё горе.

— А если продавец знал, что верблюд больной?

— Все знают. — Погонщик пожал плечами. — Продавец знает, покупатель знает, Абу Джасим знает. Кто ж за верблюда ручается? Верблюд — не горшок. Сегодня жив, завтра нет. Только безумец обещает за верблюда.

Через полчаса я видел, как продают старого. Молодой парень, по виду начинающий караванщик, выбирал вьючного. Продавец, жилистый городской перекуп с бегающими глазами, подвёл к нему крупного серого верблюда, гладкого, бодрого, с ровными зубами. Знаток парня полез в рот, посчитал зубы, кивнул. Зубы были ровные. Слишком ровные. Я стоял в трёх шагах и видел свежие следы напильника на резцах: верблуду лет восемнадцать, а зубы сделали на десять. В Москве так скручивали пробег. Здесь подпиливали зубы, и принцип был тот же.

Я мог сказать парню одно слово. Я не сказал. Хлопнули по рукам, Абу Джасим взял свою медь, парень увёл серого, сияя. Через месяц он проклянёт этот рынок. Через два — продаст серого кому-нибудь ещё, с теми же зубами.

Безумец обещает за верблюда, сказал погонщик. Я стоял и думал, сколько стоило бы такое обещание, если бы ему верили.

Я стоял в пыли и смотрел, как здесь продают. Здесь продавали плохо. Здесь продавали так, как продавали машины с пробегом в моей первой жизни, до того как появились салоны с гарантией: каждый продавец врал, каждый покупатель знал, что ему врут, и цену делал страх. Ни одна сделка не обходилась без клятв, и ни одна клятва ничего не стоила.

Не твоё дело, сказал я себе. У тебя процент. У тебя дом и повар.

Я ушёл с рынка. На следующий день пришёл снова. И потом ещё раз.

* * *

Так прошло пять недель.

Дарвиш продал жемчужины и принёс деньги: десять динаров после своей пятой части. Я записал их в книгу хозяина и сказал, что хозяин доволен. Дарвиш попросил ещё. Я сказал, что хозяин подумает. Хозяин думал долго — у меня не было больше лишнего жемчуга в поясе, а трогать стену я не собирался.

На третьей неделе мастер закончил колодец Сувейдов.

Шейх Ауад позвал меня на площадь своего квартала. Новая рама из двух тёмных брёвен с побережья, новый ворот, новая ось, свежие верёвки, ещё жёсткие, и кожаные ведра, пахнущие дублёной кожей. Вокруг стояли все Сувейды, от стариков до детей. Первое ведро поднимали вручную, без верблюда, — так велел обычай. Тянули шестеро молодых, и Зейд впереди.

Ведро вышло из колодца полное, тёмное, холодное. Шейх зачерпнул ладонью, выпил. Потом протянул мокрую ладонь в мою сторону — не мне, а к моему лицу, чтобы я тоже зачерпнул из ведра. Я зачерпнул. Вода была горьковатой и холодной.

— Вода Сувейдов, — сказал шейх. — Пусть все пьют.

Женщины квартала понесли кувшины. Сахль стоял в стороне со своим бурдюком и смотрел, как у него уходят два бурдюка в день, а может, и больше. Я дал ему дирхам. Он взял и сказал, что колодец всё равно будут ломать, такие всегда ломают, и тогда снова позовут его. Сахль не умел обижаться. Он умел ждать.

Зейд в тот день впервые сказал мне: мир тебе. Вслух. Глядя в сторону.

Юсуф каждый месяц приносил тетрадь. Прибыль была маленькая и честная. Нафи ходил по суку гоголем и рассказывал всем, какой будет урожай. Зейд при встречах кивал мне, не здороваясь вслух.

А я каждое утро ходил на верблюжий рынок. Стоял в тени. Смотрел. Считал. Ничего не делал. Бахит спросил однажды, что я там ищу, — я сказал, что хозяин, может быть, захочет купить верблюдов. Бахит кивнул.

На сорок девятый день после выхода Хамдана я сидел у продавца кахвы в суке и считал дни на пальцах. Шесть недель туда и обратно, сказал Хамдан. Шесть недель — это сорок два дня. Сегодня был сорок девятый. Ещё через два дня был пятьдесят первый.

Сахль нашёл меня у колодца вечером того же дня. Пустой бурдюк он держал под мышкой. — Соляной караван, — сказал он. — Хамдана нет. На южной дороге его никто не видел. Пятьдесят один день. Караван Хамдана опаздывал на девять дней.

Глава 7. Соль

Девять дней опоздания в песках — это ещё не приговор. Это я знал из первой книги собственной жизни, где караваны опаздывали из-за бури, из-за больного верблюда, из-за того, что у колодца сидели чужие и надо было ждать. Но я знал и другое: каждый лишний день опоздания снижает шансы, как каждый лишний день просрочки снижает шансы вернуть долг.

Утром я пошёл к Сакру.

Летом в пески не ходил никто, и старый караванщик сидел дома, в низком глинобитном дворе у южных ворот, среди сёдел, верёвок и бурдюков, которые чинил к осени. Он сидел на корточках в тени и шил толстой иглой кожу. Меня он узнал, не поднимая головы.

— Нищий, что шёл к родне, — сказал он. — Хороший у тебя оказался хозяин.

— Хорошие хозяева бывают.

— Бывают. — Сакр протянул нитку зубами. — Редко. Я сорок лет вожу караваны. Видел двоих.

Он не спросил, где я прятал золото. Он не спросил ничего, кроме того, зачем я пришёл. Я рассказал про Хамдана.

— Южная дорога, — сказал Сакр. — От Белого озера через Две пальмы. Девять дней — ещё не смерть. Пятнадцать — смерть. — Он посмотрел на меня выцветшими глазами. — Хамдан хороший солевар и плохой караванщик. Он считает воду, а надо считать людей у колодца.

Он вернулся к своему шву. Я понял, что разговор окончен, и оставил на сёдлах дирхам. Сакр сделал вид, что не заметил. Когда я выходил, он сказал мне в спину, не оборачиваясь:

— Если вернётся кто-то один, приходи ещё. Расскажешь мне, у какого колодца.

Выжившего привезли на третий день после того, как Сахль сказал мне про караван.

Его подобрали люди из южного оазиса, которые шли в Хаджар с финиками. Он лежал у пересохшего колодца в двух днях пути, с раной в бедре и пустым бурдюком. Звали его Амр, он был наёмным погонщиком у Хамдана, молодым и, видимо, очень везучим. Его положили на постоялом дворе у восточных ворот, в том самом углу под навесом, где я спал в первую ночь. Хозяин двора прислал за мной мальчишку, не спросив никого. Он уже понимал, кто в этом городе платит за новости.

Амр лежал на циновке, серый под загаром. Бедро было замотано тряпкой, чёрной от крови и мух. Лекарь с рынка, которого я привёл, размотал тряпку, понюхал, поморщился и сказал, что ногу, может быть, удастся спасти, если парень доживёт до завтра. Амр смотрел на меня, не понимая, кто я. Я сел рядом и дал ему воды. Он пил, пока я не отнял кувшин.

— Рассказывай, — сказал я.

Рассказывал он плохо, путаясь и повторяясь, но рассказал.

Соль взяли хорошую, восемь верблюдов под завязку. Шли назад третий день от Белого озера, к колодцу, который Хамдан называл Двумя пальмами, хотя пальма там была одна. Пришли к колодцу к ночи, напоили верблюдов, легли. На рассвете из-за бархана вышли всадники. Человек двадцать, на хороших верблюдах, лица замотаны тёмными платками, без знамени, без крика. Не торопились. Окружили колодец, как окружают овец.

— Они знали, чьи мы, — сказал Амр. — Старший спросил: это соль купца из-за моря? Хамдан сказал: моя. Старший засмеялся. Сказал: Хамдан, ты на весь Хаджар кричал, что ходишь с деньгами Малика. Пески тоже слышат.

Я запомнил это. Хамдан раздавал мою тайну по клятве, каждому понемногу. И, видимо, не только тайну, но и маршрут.

— Хамдан сказал: отдайте им всё, — говорил Амр. — Сказал, пусть берут соль, пусть берут верблюдов, живыми уйдём. Мы бросили ножи. Они стали забирать верблюдов. А потом один полез к Хамдану за бурдюком.

— За бурдюком?

— За его водой. Хамдан держал бурдюк, как всегда. Обнял и держал. Тот дёрнул, Хамдан не отдал. Тот ударил. Хамдан не отдал. — Амр закрыл глаза. — Тогда его зарезали. И Салима зарезали, который полез помогать. И Мансура-погонщика, который просто стоял рядом. А меня ткнули копьём в ногу и бросили, думали, сам умру.

Он открыл глаза.

— Всё отдал, — сказал он. — Соль отдал, верблюдов отдал. А воду не отдал.

Хамдан, который стерёг свою воду даже во сне, лёг в песок вместе с сорока динарами хозяина. Он умер за бурдюк ценой в два дирхама. Верблюды, соль, жизнь — всё это он считал, и считал правильно. А бурдюк он не считал. Бурдюк был у него в руках, а не в голове. Двадцать лет в песках учат беречь воду больше жизни, и это знание его убило.

Я встал и дал лекарю два дирхама. Хозяину двора — ещё один, чтобы Амра кормили. Амр смотрел на меня с испугом, как смотрят на кредитора.

— Я не виноват, господин, — сказал он.

— Никто не виноват, — сказал я. — Это пустыня.

* * *

Договор мудараба был у старого писца под навесом. Я зашёл к нему на следующее утро, хотя знал, что он скажет.

— Убыток твой, — сказал старик с бельмом. — Так написано. Хамдан отдал труд и жизнь. Ты отдал деньги. У каждого своё.

— А если бы Хамдан выжил?

— Тогда он отдал бы только труд. — Старик пожевал губами. — Деньги всё равно твои. Пустыня никому их не возвращает.

Минус сорок. Я записал это вечером в книгу хозяина, аккуратно, с датой и словом набег в графе причины. Потом закрыл книгу и посидел над ней.

В Москве я знал людей, которые вкладывали деньги в стартапы. Из десяти стартапов девять умирали, и это считалось нормой. Венчурный фонд жил одним выжившим. У меня было три корзины, и через два месяца одной не стало. Если считать по-венчурному, я ещё в плюсе: две из трёх живы. Если считать по-человечески, из сорока динаров хозяина я не вернул ни медяка, а Хамдан не вернул себя.

Процент — это плата за риск. А риск в пустыне — это сама пустыня. Я знал это и раньше. Я сам в ней почти лёг. Но одно дело знать, другое — видеть, как твои деньги уходят в песок вместе с человеком, который двадцать лет говорил, что чует опасность носом.

Чутьё стоит дорого. Пока не ошибётся.

Зейд, когда узнал, пришёл сам. Сел в меджлисе, принял кахву, помолчал.

— Свидетели от Сувейдов подписали твой договор, — сказал он. — Род теперь думает, что должен что-то сделать.

— Что тут сделаешь?

— Ничего. — Он пожал плечами. — Пустыня не подписывает договоров. Но ты сосед Сувейдов, и у тебя убили человека. Люди спросят, что сделали Сувейды.

— Скажи им, что Сувейды пили со мной кахву и сочувствовали.

Зейд посмотрел на меня долго, будто проверял, не смеюсь ли я.

— Ты странный, — сказал он наконец. — Ты потерял сорок динаров и не злишься.

— Злость ничего не возвращает. Я злюсь, когда это выгодно.

Он ушёл, и я видел по его спине, что этот ответ ему не понравился. Род, который не может отомстить, теряет честь, даже если мстить некому. Я тогда ещё не понимал, насколько всерьёз Зейд считал свою честь. Это было моей ошибкой. Не последней.

* * *

Кто это был, я узнал через четыре дня. Узнал от водоносов.

Сахль собирал новости, как собирают воду, — понемногу, со всех колодцев. Тёмные платки, сказали одни. Хорошие верблюды, сказали другие. Двадцать всадников без знамени, сказал Амр. В Хаджаре так ходили на газу только одни люди. Набег у них не считался разбоем. Набег был делом чести, как у других торговля. Тамиры.

— Но Тамиры ушли на север, к пастбищам, — сказал я. — Хамдан говорил.

— Ушли, — согласился Сахль. — Пастбища на севере высохли. Вернулись раньше. Две недели назад.

Хамдан не знал, что пастбища высохли. Его нос этого не учуял.

А через неделю я увидел свою соль.

Это было в южном ряду сука, где торговали тем, что привозили из песков: кожей, шерстью, сушёным мясом, верблюжьим жиром в горшках. На циновке у глухой стены лежали серые бруски, штук сорок, сложенные аккуратной пирамидой. На каждом в углу было выцарапано небольшое клеймо: круг, перечёркнутый чертой. Кривой глаз.

Хамдан метил свою соль своим глазом. Он показывал мне этот знак в первый вечер, когда принёс брусок для кухни. Я тогда ещё посмеялся про себя: человек с одним глазом рисует глаз, перечёркнутый чертой. Чёрный юмор пустыни.

Продавец сидел у пирамиды на корточках, худой, с ласковым лицом, и улыбался всем, кто проходил. Звали его Аттия, мне сказали потом. Он улыбался даже мухам.

— Хорошая соль, — сказал он мне. — С Белого озера. Лучшая в песках.

— Откуда она у тебя?

— Люди привезли.

— Какие люди?

— Люди из песков. — Улыбка не дрогнула. — Хорошие люди. Пять дирхамов брусок.

Я стоял и смотрел на кривые глаза на брусках. Вокруг ходили покупатели, торговались, брали. Кто-то из купцов, которых я знал по кахве в ряду пряностей, взял три бруска и не спросил, откуда. Все знали откуда. Никто не спрашивал.

Пока я стоял, к Аттии подсел молодой худой человек в простой тёмной одежде. Писец, судя по пальцам: указательный и средний чёрные от чернил. Они перекинулись парой слов, Аттия передал ему маленький кожаный мешочек, и писец, не пересчитывая, сунул его за пазуху. Потом достал узкую полоску бумаги, что-то черкнул на ней тонкой палочкой и ушёл в сторону крепости. Никто вокруг не повернул головы.

В этом городе было слишком много людей с чернильными пальцами.

Здесь грабёж не был преступлением. Здесь он был отраслью. У отрасли были поставщики — всадники в тёмных платках. Была логистика — их верблюды. Была розница — улыбчивый Аттия у стены. И, как я потом выяснил, была крыша: человек из крепости, который раз в неделю заходил к Аттии и уходил с монетой. Вода божья, а верёвка эмирова. Соль, видимо, тоже.

* * *

Можно было обидеться. Можно было пойти к Сувейдам и потребовать, чтобы они наказали Тамиров. Можно было пойти к кади. Ни одно из этого не вернуло бы денег, а последнее сделало бы меня врагом людей, у которых двадцать всадников, хорошие верблюды и человек в крепости.

Я сделал то, что сделал бы любой продавец. Я посмотрел на пирамиду как на товар.

Сорок брусков по пять дирхамов — двести дирхамов, двадцать динаров. Это розница. Аттии нужно продать всё и уйти, пока кто-нибудь не задал вопрос, на который придётся отвечать не улыбкой. Ему нужны деньги быстро. А быстрые деньги всегда стоят дешевле медленных.

— Беру всё, — сказал я. — Сразу. Золотом.

Аттия перестал улыбаться. Впервые.

— Всё?

— Сорок брусков. Двенадцать динаров.

— Двадцать.

— Двенадцать сейчас — или двадцать за месяц, если весь месяц будешь здесь сидеть и улыбаться. — Я кивнул на вход в ряд. — Не знаю, кто раньше спросит, откуда соль. Покупатель или хозяин соли.

Аттия посмотрел на меня внимательно. Видимо, он тоже слышал, у кого работал Хамдан. Мы сошлись на тринадцати. Я заплатил золотом, двенадцать монет и дирхамы, и нанял двух носильщиков. Аттия считал монеты и снова улыбался. Улыбка у него восстанавливалась быстро, как кожа у молодых.

Носильщики отнесли соль к восточным воротам, к лавке через одну от Сайфа. Хозяин той лавки, торговец солью, у которого в первый мой день сидел на корточках Хамдан, узнал бруску издавна. Он подошёл, взял один, провёл пальцем по клейму. Помолчал.

— Хамдан, — сказал он.

— Хамдан, — сказал я. — Хозяйская соль. Хочешь — бери. Двадцать динаров за все сорок.

Он взвесил на ладони брусок, будто взвешивал и соль, и смерть, и меня.

— Ты её купил у Аттии.

— Купил. За свои. Честно. Писец может записать.

Он купил. За восемнадцать — торговаться он умел лучше Аттии. И пока его люди перетаскивали соль в лавку, он сказал мне вполголоса то, чего я не спрашивал:

— Тамиры. Молодые, из тех, что вернулись с севера. А Аттия платит человеку из крепости. Раз в неделю. Все знают.

— Кому именно?

Торговец пожал плечами.

— Кто знает, кому платит крепость, тот долго не торгует солью.

Я вернул себе пять динаров из сорока. И получил кое-что дороже: карту. Кто грабит, кто сбывает, кто покрывает. В Москве за такое нанимали службу безопасности. Здесь карта стоила мне сорок динаров и жизнь человека, который мне даже не нравился.

Дорого. Но карта была точной.

И ещё одна строка, которую я не стал записывать в книгу хозяина. Хамдан был первым человеком в Хаджаре, который видел меня нищим и знал, что я не нищий. Свидетель легенды лёг в песок. Минус сорок динаров, минус один человек, который помнил бледного оборванца у костра. Я отметил это без радости и без сожаления, как отмечают в отчёте закрытую позицию.

* * *

Вечером я сидел под пальмой и считал. Минус сорок, плюс пять. Минус тридцать пять в первой корзине. Вторая и третья ещё работали. Бахит принёс рис с бараниной и спросил, правда ли, что хозяйскую соль продавали в суке. Я сказал, что правда.

— Сколько же хозяин потерял, господин управляющий?

— Сорок динаров.

— Сорок, — повторил Бахит, будто запоминал. — Это много.

— Для хозяина — нет.

Он покачал головой и сказал, что хозяин, наверное, будет очень зол. Я сказал, что хозяин далеко и узнает не скоро.

Бахит кивнул и ушёл. Я ел и думал, что хозяин, которого нет, был очень удобным человеком. Он никогда не злился.

* * *

Нафи пришёл на следующее утро, когда я заканчивал отжимания.

Он поднялся на крышу, не дожидаясь, пока я спущусь, весь в поту и в улыбке, и протянул мне свиток. Отчёт. Написанный у писца, с печатью писца, всё как положено.

— Беда, господин управляющий, — сказал он, улыбаясь. — Саранча.

Я развернул свиток.

Саранча пришла с востока, ела три дня. Половина урожая погибла. Из шестисот корзин осталось триста. Расходы на работников, на воду, на опыление — ровно столько, сколько было в договоре. Прибыль после продажи трёхсот корзин — почти ноль. Хозяину причитается два динара. Нафи искренне скорбит.

Я прочитал свиток дважды.

Цифры были аккуратные. Половина — ровно половина. Расходы — ровно по договору. Ни одной лишней корзины, ни одного неучтённого дирхама.

Сахль говорил мне на канале, что саранчи не было уже три года. На этой неделе в суке, у кахвы, говорили о Тамирах, о соли, о ценах на верблюдов перед сезоном. О саранче не сказал никто.

— Когда она пришла? — спросил я.

— Ночью, господин. Ночью пришла, ночью ушла. Утром смотрю — ветки голые.

— А у соседей?

— У соседей меньше. — Нафи развёл руками, и с его рукавов закапал пот. — Ветер был в мою сторону.

— Очень разборчивый ветер.

— Божья воля, — сказал Нафи и улыбнулся так, будто божья воля была ему хорошим знакомым.

— Я приеду посмотреть.

— Приезжай, господин управляющий. Посмотришь на пустые ветки. — Улыбка не дрогнула ни на волос. — Я покажу тебе каждую.

Он ушёл вниз по лестнице, и я слышал, как он насвистывает во дворе, проходя мимо Бишра.

Саранча, которая съедает ровно половину, — очень аккуратная саранча.

Цифры были красивые. Слишком красивые. В Москве я видел такие отчёты у отделов, которые план не выполнили, а премию получить хотели.

Глава 8. Саранча

Аудит я начал на рассвете, пока не жарко. В Москве аудиторы приходят с ноутбуками и сидят в переговорной. Мой аудит пришёл к роще Нафи пешком: я, Сахль с пустым бурдюком и Бишр, который за всю дорогу от южных ворот не сказал ни слова.

Роща лежала в двух километрах от стены, по ту сторону сухого русла. Нафи встретил нас у канала. Он был уже потный, хотя солнце только поднялось, и улыбался так, будто ждал нас с вечера и не спал от радости.

— Смотри, господин управляющий, — сказал он и широко повёл рукой. — Смотри на беду.

Я смотрел.

Пальм было сто двадцать, я пересчитал их ещё раз, на всякий случай. Под пальмами было прохладно и сыро, канал тёк, как и в прошлый раз, вдоль рядов, разделённый глиняными заслонками на маленькие ручьи. Листья пальм были зелёные. Длинные, жёсткие, целые. Ни одного обглоданного пера.

Саранчу я видел в первой своей южной жизни, в Азмаре. Она приходила тучей, от которой темнело небо, и после неё оставалось то, что остаётся после пожара, только без огня. Она ела всё: листья, кору, молодые ветки, траву под деревьями. Земля после неё была покрыта помётом, как пеплом. Пальма после саранчи выглядела, как метла.

Здесь пальмы выглядели, как пальмы.

— Где она ела? — спросил я.

— Гроздья, господин. — Нафи показал вверх. — Она ела гроздья.

Я поднял голову. Под кронами висели обрубки плодоносов — толстые жёлтые стебли, на которых держались гроздья фиников. Обрубки были ровными. Срез наискось, чистый, одним движением.

— Саранча носит серпы? — спросил я.

Нафи посмотрел на обрубки, потом на меня. Улыбка держалась, но в ней появилась трещина, как в старой глине.

— Мы срезали то, что осталось, господин. Чтобы спасти.

— Половину каждой грозди?

— Где как.

— А помёт где? Саранча гадит, Нафи. Много. После неё под деревьями чёрно.

— Вода смыла. Канал.

Я кивнул, как кивают на хороший ответ. Ответ был плохой, но спорить под пальмами было бесполезно. Под пальмами Нафи был дома, а дома человек врёт увереннее.

* * *

Сахль, пока мы говорили, ушёл к соседней роще и вернулся с бурдюком, полным воды из чужого канала. Он всегда приходил назад с чем-нибудь: с водой, с новостью, с тем и другим сразу.

— У соседа саранчи не было, — сказал он тихо, наливая мне воды в ладони. — Работник говорит, третий год не видели.

— А у Нафи?

— Работник говорит, у Нафи тоже не было. Говорит, Нафи неделю назад нанял людей на ночь. Срезать.

Соседняя роща была в ста метрах. Ветер, который пришёл в сторону Нафи и обошёл соседа, был очень разборчивым ветром.

Бишр всё это время стоял у края рощи, там, где тропа уходила от канала к дороге, и смотрел в землю. Потом присел на корточки. Я подошёл.

На тропе была утоптанная пыль, а в пыли следы. Много следов, широких, мягких, как будто кто-то ставил на землю подушки.

— Верблюды, — сказал Бишр.

— Сколько?

Он долго смотрел.

— Десять. Гружёные. — Он показал пальцем, как глубоко ушла пыль под передними ногами. — Пять дней.

— Куда?

Бишр поднял голову и посмотрел вдоль тропы. Тропа уходила к восточной дороге. На восток — к побережью.

Вот зачем мне был нужен бывший рубака. Он двадцать лет читал следы на песке, когда ходил в набеги, и теперь читал их для меня за динар в месяц. Служба безопасности с камерами наблюдения обошлась бы дороже и видела бы меньше.

Нафи стоял в стороне и делал вид, что разговаривает с работником. Он видел, что Бишр смотрит на тропу. Улыбка у него стала совсем тонкой.

— В амбар, — сказал я. — Покажи мне триста корзин.

Корзин в амбаре было триста. Я пересчитал. Финики хорошие, янтарные, крупные. Таких хороших фиников после саранчи не бывает. Саранча не выбирает плохие и не оставляет хорошие.

— Спасибо, Нафи, — сказал я. — Беда так беда.

— Божья воля, господин управляющий.

— Божья, — согласился я.

Назад шли через сухое русло. Солнце уже поднялось, песок под сандалиями нагрелся, и Сахль убежал вперёд, к городу, со своим бурдюком. Бишр шёл рядом со мной, на полшага сзади, как ходят охранники, которые знают своё дело.

— Где научился читать следы? — спросил я.

— Набеги.

— Долго ходил?

— Двадцать лет.

— Почему бросил?

Бишр долго молчал. Мы прошли метров двести.

— Род кончился, — сказал он.

Больше он не сказал ничего, и я не спрашивал. Род, который кончился, — это в песках хуже, чем смерть. Смерть — это ты один. Конец рода — это все, кого ты знал, и все, кто знал тебя, и твоё имя, которое больше никто не произнесёт у огня. Бишр был человеком без рода, как я. Только он это потерял, а я с этим пришёл.

* * *

Остальное принёс город.

Через два дня Сахль пришёл с вечерним бурдюком и новостью. Его приятель носил воду на караван-сарай у восточных ворот. Неделю назад там стояли люди Сабита, закупщика с побережья. Десять верблюдов. Грузили ночью, финики, в корзинах. Расплачивались серебром. Один из людей Сабита ругался, что пришлось ждать до темноты, потому что продавец просил, чтобы никто не видел.

— А кто продавец? — спросил я.

— Сказали — потный, — ответил Сахль. — С улыбкой.

Нафи продал один урожай дважды. Половину — мне, под мои сорок динаров, по договору. Вторую половину — Сабиту, тому самому, которого он при всех выгнал из рощи, громко, чтобы все слышали. Громко — это было для меня. Чтобы я поверил, что закупщику больше нечего у Нафи покупать.

Схема была старая, как торговля. В Москве так продавали одну квартиру трём покупателям. Здесь — один урожай двум. Масштаб другой, жанр тот же.

Я сел под пальмой и посчитал варианты.

Кади. Я пришёл бы к нему с рассказом водоноса, со следами на тропе, которые давно затоптали, и со словами Бишра, которого здесь никто не знал. Нафи пришёл бы с отчётом, заверенным писцом, с работниками, которые клялись бы, что видели саранчу своими глазами, и с дядей, который пьёт кахву с кем надо. Сайф объяснил мне это в первый же день. Чужая вода не течёт в свой арык.

Сабит. Закупщик уже ушёл на побережье с моими финиками. Догонять его — значит тратить деньги на погоню за деньгами.

Оставался третий вариант. Ради него я и платил двадцать динаров за колодец.

* * *

Шейх Ауад выслушал меня, не перебивая. Сидел, прикрыв белёсый глаз, и пальцами перебирал чётки. Вокруг сидели старики. Зейд сидел у огня и толоч кофе, медленно, так, что пест едва звенел.

— Нафи, — сказал шейх, когда я кончил. — Сын Хамида-садовника. Его дед был хорошим человеком.

— Дед был хорошим, — сказал я. — Внук продаёт урожай дважды.

— Ты сосед Сувейдов, — сказал шейх. Он открыл глаз и посмотрел на меня своим зрячим. — Кто обманул соседа, обманул Сувейдов. Так я сказал при всех. Так и будет.

Пест у огня перестал звенеть.

— Я пойду, — сказал Зейд.

Он встал так быстро, что ступка покатила по полу. Старики переглянулись. Шейх посмотрел на племянника долго, тем самым взглядом, каким смотрел на него в первый вечер, когда Зейд налил мне до краёв.

— Пойдёшь, — сказал он. — Но без железа.

— Без железа, — сказал Зейд. — Мне не нужно железо для Нафи.

Я понимал, почему он так рвался. Соль Хамдана Сувейды не смогли вернуть: против Тамиров у них не было ни людей, ни верблюдов. Род, который не может защитить соседа, теряет лицо. Зейд две недели ходил по городу с этим потерянным лицом. Нафи был подарком. Должник, против которого не нужны двадцать всадников. Против Нафи достаточно одного Зейда.

* * *

Зейд выбрал полдень и финиковый ряд. Самое людное время, самое людное место. Это было правильно. Это было то, что сделал бы я сам, если бы хотел, чтобы весь город узнал.

Нафи сидел в своей лавке у пирамиды из корзин — тех самых трёхсот, которые не съела саранча. Зейд пришёл с двумя двоюродными братьями. Мечи на поясах, но руки на виду. Я стоял в стороне, у продавца кахвы, вместе с Бишром. Управляющий богатого дома не участвует в таких вещах. Он смотрит.

— Нафи, сын Хамида, — сказал Зейд. Не громко, но так, что ряд замолчал. — Мир тебе.

— И тебе мир, Зейд, — сказал Нафи и улыбнулся. Он ещё не понял.

— Я пришёл спросить про саранчу.

Нафи понял. Я видел, как он понял: пот у него на лбу выступил сразу, крупными каплями, как роса.

— Беда была, Зейд. Божья воля.

— Божья воля пришла ночью, — сказал Зейд. — На десяти верблюдах Сабита с побережья. И ушла по восточной дороге, гружёная. И расплатилась серебром. — Он повернулся к людям, которые уже стояли кругом. — Нафи продал свой урожай дважды. Одну половину

— купцу Малику, через его управляющего. Вторую — Сабиту, тайно, ночью. А купцу сказал, что съела саранча.

В толпе засмеялись. Кто-то сказал: саранча на верблюдах. Засмеялись громче.

— Это ложь! — Нафи вскочил, и корзины за его спиной качнулись. — Кто видел? Пусть скажет, кто видел!

— Водоносы, — сказал Зейд спокойно. — Водоносы видят всё. Они носят воду на караван-сарай, где стояли люди Сабита. Они носят воду в твой двор, Нафи. Хочешь, я позову сюда всех водоносов Хаджара? Пусть расскажут при всех, что видели у тебя за неделю.

Нафи открыл рот и закрыл. В толпе кто-то крикнул, что водоносов в Хаджаре триста. Засмеялись снова. Нафи понимал, что если позвать водоносов, они расскажут не только о финиках. Водоносы знали, кто к нему ходит по ночам, сколько он должен и кому. У каждого торговца в Хаджаре было что-то, о чём знали только водоносы. Поэтому водоносов в Хаджаре не обижали. Кроме Тамиров.

— Управляющий купца Малика — сосед Сувейдов, — сказал Зейд. — Кто обманул соседа Сувейдов, обманул Сувейдов. Я не пришёл с железом, Нафи. Железо — для мужчин. Я пришёл сказать Хаджару, сколько стоит твоё слово. Половину. Слово Нафи стоит ровно половину. Всё, что Нафи обещает, делите на два.

Это было лучше любого меча. В городе, где все торговали со всеми, человек, чьё слово стоит половину, был мёртв как торговец. С ним никто не стал бы подписывать даже покупку козы.

В толпе я увидел двух мужчин, похожих на Нафи, — постарше, в хороших рубахах. Родня. Один отвернулся. Второй смотрел на Нафи так, как смотрят на родственника, который опозорил всю семью на свадьбе.

Нафи перестал улыбаться. Совсем, впервые с тех пор, как я его знал. Без улыбки у него оказалось обычное лицо. Испуганное и немолодое.

— Сколько? — спросил он хрипло.

Зейд посмотрел на меня через толпу. Я поднял три пальца, потом ещё три.

— Тридцать динаров, — сказал Зейд. — Сейчас. Остальное купец простит. Купец знает, что ты платил работникам.

Нафи ушёл в глубину лавки и вернулся с мешочком. Отсчитывал при всех, на прилавок, и руки у него дрожали. Зейд пересчитал, взял пять монет себе — долю рода, которая положена тем, кто взыскал долг соседа, — остальные двадцать пять пересыпал в кожаный мешочек и, пройдя через расступившуюся толпу, отдал мне. При всех. С лёгким поклоном, в котором было больше гордости, чем вежливости.

— Слово Сувейдов, — сказал он громко, — стоит целиком.

Толпа загудела. Ему хлопали по плечу. Мальчишки бежали впереди него до самого конца ряда.

Когда толпа разошлась, ко мне у лавки кахвы подошёл один из тех двоих, в хороших рубахах. Постарше, с седой бородой, с лицом человека, который всю жизнь держал семью в порядке и сегодня это не удалось.

— Ты мог прийти к нам тихо, управляющий, — сказал он. — Мы бы заплатили. Все тридцать. И Нафи бы мы сами наказали.

— Мог, — согласился я.

— Теперь весь Хаджар смеётся над нашим именем. — Он посмотрел мне в глаза. — Мы это запомним.

Он ушёл, не дожидаясь ответа. Бишр рядом со мной проводил его взглядом и чуть сдвинулся, чтобы стоять между мной и рядом.

* * *

Вечером я считал.

Минус пятнадцать на финиках — сорок отдал, двадцать пять вернулось. Минус тридцать пять на соли. Плюс четыре на сукне: Юсуф принёс первую треть прибыли за три месяца и тетрадь, в которой всё сходилось до медяка. Из ста двадцати динаров, которые я отправил работать, в деле оставались сорок у Юсуфа. Вернулось тридцать четыре. Остальные сорок шесть ушли в песок у Двух пальм и в ночные корзины Сабита. Процент, о котором я мечтал на постоялом дворе, оказался отрицательным. Минус сорок шесть за четыре месяца.

В Москве после такого квартала мне бы позвонил Гуров. Здесь звонить было некому, кроме меня самого.

Вывод был простым, как все выводы, за которые дорого заплачено. Пассивного дохода здесь не бывает. Ты либо держишь руку на деле, либо дело держит руку на тебе. Хамдан кричал про хозяйские деньги на всю пустыню. Нафи продал урожай за моей спиной. Только скучный Юсуф принёс свои четыре динара, потому что был скучным. Скучных не хватит на всех.

И Зейд. О Зейде я думал дольше.

Он сделал всё блестяще. Лучше, чем сделал бы я. Он продал честь рода так, как продают дорогие духи: щедро, на всю улицу, так, что запомнил весь ряд. Но он не подумал, что флакон один. Нафи теперь враг Сувейдов навсегда. Его родня, те двое в хороших рубахах, тоже. Ради двадцати пяти динаров, которые я мог бы забрать тихо, Зейд нажил врагов на два поколения. И был счастлив.

Хороший продавец. Плохой хозяин. Таких ставят на переговоры и не подпускают к бюджету.

Я записал его в голове именно так. И подумал, что продавец мне, кажется, скоро понадобится.

* * *

Через два дня Зейд пришёл ко мне сам. Впервые без поручения шейха.

Он сел в меджлисе, принял кахву от Бахита, выпил одну чашку и не протянул за второй. Достал из пояса свои пять динаров — долю рода — и стал перекладывать их на ковре: одну на другую, столбиком, потом снова в ряд. Он не считал. Просто держал руки занятыми.

— Я отдам их на колодец, — сказал он. — На верёвки. Верёвки быстро гниют.

— Хорошее дело.

— Хорошее. — Он поднял на меня глаза. — Ты странный купец, Мансур. Тебя ограбили — ты не злишься. Тебя обманули — ты не кричишь. Ты считаешь.

— Я всегда считаю.

— Да. — Зейд собрал монеты в ладонь. — И ещё ты ходишь на верблюжий рынок. Каждое утро. Стоишь в тени и смотришь. Мне говорили. Ты ничего не покупаешь, ничего не продаёшь. Только смотришь.

Я промолчал.

— Тебе скучно, купец, — сказал Зейд. — Я вижу. Весь твой процент тебе скучен. — Он наклонился вперёд. — Что ты там нашёл, на рынке?

Глава 9. Верблюжий рынок

— Пойдём со мной завтра, — сказал я Зейду. — На рассвете. Покажу.

Он посмотрел на меня с подозрением, как смотрят на купца, который обещает показать что-то бесплатно. Но пришёл. Когда Бишр открыл калитку, Зейд уже стоял в переулке, закутанный в плащ, потому что на рассвете в Хаджаре бывает почти холодно. Меча при нём не было. На рынок с мечом приходят только перекупы — так он сказал, когда я спросил.

Мы вышли за северные ворота, когда муэдзин ещё не закончил. Поле лежало в синем сумраке, и над ним уже стояла пыль, хотя солнца не было. Пыль здесь не оседала никогда. Она поднималась с рассветом и опускалась только ночью, и то не вся.

С севера и с запада на поле входили стада. Бедуины пригоняли их из песков ночью, по прохладе: двадцать голов, пятьдесят, сто. Пастухи в чёрном, с длинными палками, кричали гортанно, и верблюды шли плотной ревущей массой, задевая друг друга боками. Городские перекупы уже ждали у загонов, как ждут у выхода из метро таксисты. Писец Абу Джасима раскладывал свою доску на перевёрнутом ящике.

Зейд здесь был другим человеком. В городе он ходил, как ходят по чужой земле, — прямо и настороже. Здесь он шёл, как ходят дома. С ним здоровались пастухи. Двое подошли, обняли, о чём-то спросили. Он ответил на их наречии, которое я понимал через слово. Потом он остановился у первого же загона и стал смотреть на верблюдов. Не так, как смотрел я, — на цену. Так, как смотрит врач на пациентов в коридоре: сразу видит, кто болен.

— Этот хромой, — сказал он, кивнув на рыжего. — Левая задняя. Его водят только по песку, на песке не видно. Поставь на камень — сразу увидишь.

— А этот?

— Этот старый. Лет двадцать. Ему подпилили зубы. Видишь, как он держит голову? Так держит голову верблюд, у которого болит рот. Свежий напильник.

Я видел зубы под напильником неделю назад, но не видел, как держат голову. Я видел жульничество. Зейд видел верблюда.

* * *

Следующие два часа мы ходили по рынку, и Зейд показывал мне то, чего я не видел за месяц.

Верблюдица, которую продавали как дойную. Вымя у неё было тугим и полным, и перекуп хлопал по нему ладонью, показывая покупателю. Зейд наклонился ко мне: её не доили два дня и перевязали соски шерстью, чтобы молоко стояло. Купишь — через неделю молока будет в три раза меньше, и не потому, что верблюдица плохая, а потому, что она обычная.

Серый верблюд с лоснящейся шкуркой и бодрыми глазами. Под хвостом у него был перец — молотый, жгучий. От перца верблюд дёргался и казался полным сил. Через час перец выйдет, и верблюд станет таким, какой есть: усталым и старым.

Тёмное пятно на боку молодого самца. Не грязь, а дёготь. Под дёгтем парша. Парша заразная, через месяц будет чесаться весь караван.

Худой верблюд, которого перед продажей поили так, что раздулось брюхо. Он казался сытым и тяжёлым. К вечеру он помочится дважды и станет тем, кем был: доходягой.

Я слушал и переводил всё на язык, который понимал. Подпиленные зубы — скрученный пробег. Перевязанное вымя — накрученные показатели в квартальном отчёте. Дёготь на парше — свежая покраска на битом крыле. Перец под хвостом — я не нашёл московского аналога, но был уверен, что он существует.

— Ты всё это знаешь, — сказал я Зейду. — И каждый бедуин знает.

— Каждый, кто вырос с верблюдами, знает.

— А покупатель?

— Покупатель из города. — Зейд пожал плечами с тем же презрением, с каким пастухи смотрели на перекупов. — Городские не знают верблюдов. Они знают деньги.

— А пастухи? Они сами так продают?

— Пастухи продают перекупам. Честно, гуртом, по цене за голову. — Он кивнул на ряд загонов, где перекупы уже переделывали верблюдов: кто-то натирал шкуру жиром, кто-то возился с зубами, прикрыв голову животного плащом. — А перекупы делают из плохого верблюда хорошего. На один день.

На поле было две отрасли. Пастухи разводили верблюдов. Перекупы разводили покупателей. Деньги делала вторая.

Ближе к девяти на поле въехали люди из крепости. Пятеро всадников, впереди нервный человек средних лет в хорошем платке, с писцом за спиной. Перекупы зашевелились, как зашевелились бы продавцы в салоне, если бы туда вошёл заказчик с бюджетом.

— Мубарак, — сказал Зейд. — Конюший эмира. Берёт для войска.

Мубарак брал быстро. Показывал пальцем: этого, этого, тех трёх. Не торговался, не смотрел зубы, не лез под хвост. Писец записывал, всадники уводили. Перекупы подводили ему таких верблюдов, каких не подвели бы и караванщику из дальнего оазиса: старых, хромых, с дёгтем на боках. Мубарак не замечал. Или замечал и не хотел знать.

— Почему он не смотрит? — спросил я.

— Платит не он. — Зейд усмехнулся. — Платит казна. А казне всё равно, какой верблюд ляжет в набеге. Ляжет — купят нового.

Казённые закупки. Я видел их в Москве, когда наш отдел продавал рекламу государственным компаниям: заказчик, которому всё равно, потому что платит не он. В любом веке это самый жирный клиент и самый опасный. Жирный — потому что не считает. Опасный — потому что, когда что-то пойдёт не так, виноватым назначат того, кто продал.

* * *

К полудню я нашёл того, кого искал.

Он стоял у загона Абу Джасима и кричал. Немолодой караванщик из дальнего южного оазиса, с обветренным лицом и руками, на которых не хватало двух ногтей. Неделю назад он купил здесь восемь выучных верблюдов. Двое легли на третий день пути, ещё до первого колодца. Он вернулся с шестью и с грузом, который пришлось бросить в песках.

— Мне продали падаль! — кричал он. — Падаль за цену здоровых!

Абу Джасим сидел в тени на подушке, грузный, с бородой, крашенной хной до морковного цвета, и перебирал чётки.

— Ты смотрел, — сказал он равнодушно. — Твой знаток смотрел. Хлопнули по рукам. Мой писец записал. — Он развёл ладони. — Купил — твоё.

— А продавец? Где продавец?

— Продавец продал и ушёл. На то он и продавец.

Караванщик сплюнул и отошёл. Я перехватил его у выхода с поля, где он сидел на корточках у своих шести верблюдов и смотрел в землю.

— Скажи, — спросил я. — Если бы тебе тогда, неделю назад, кто-нибудь пообещал: если верблюд падёт в пути — заменю. Сколько бы ты заплатил сверху?

Он поднял на меня глаза, красные от пыли и злости.

— Кто пообещал бы?

— Неважно. Сколько?

Он подумал. Не так долго, как думают о цене. Так, как думают о чём-то, чего очень хочется и чего не бывает.

— Десятую часть, — сказал он. Потом, подумав ещё: — Пятую. Лишь бы дошёл. Я из-за двухдохлых потерял больше, чем стоят все восемь.

Я дал ему дирхам за разговор. Он взял и посмотрел мне вслед, ничего не поняв.

Маркетологи называют это исследованием готовности платить. Здесь хватило одного злого караванщика у загона.

* * *

Мы сели в тени у городской стены, и я сказал Зейду то, что понял за месяц.

— Здесь продают верблюдов. А продавать надо уверенность.

Он молчал, и я продолжил.

— Каждый покупатель на этом поле боится. Боится, что ему подпилили зубы, что под хвостом перец, что под дёгтем парша. Поэтому он торгуется до крови, тащит с собой знатока, клянётся богом и отцом. А его всё равно обманывают, и он это знает. Страх стоит ему денег, времени и верблюдов в песках. Если продать ему верблюда без страха, он заплатит сверху. Ты слышал — пятую часть.

— Без страха не бывает, — сказал Зейд. — Верблюд — не горшок.

— Верблюд — не горшок. Но слово — это слово. — Я говорил медленно, потому что каждое слово здесь надо было продать. — Представь двор. Хороший, чистый, у ворот. Туда приводят верблюдов. Каждого смотрит знающий человек, лучший, какого можно найти. Зубы, ноги, глаза, горб, дыхание, вымя, помёт. Если верблюд хороший, ему ставят маленький знак — тавро двора. На шее, сбоку, чтобы не портить тавро рода. Если плохой — разворачивают. И тот, кто покупает верблюда со знаком, получает обещание: если верблюд падёт в пути в первые сорок дней — двор даст другого.

Зейд смотрел на меня так, будто я предложил ему продать собственного деда.

— Ты хочешь, чтобы Сувейды торговали верблюдами? Как перекупы?

— Нет. — Это был главный ход, и я его готовил. — Перекупы врут. Я хочу, чтобы Сувейды давали слово. Двор будет купца Малика. Деньги будут Малика. А слово, которое стоит за знаком, будет словом Сувейдов. Ты сам сказал при всём финиковом ряду: слово Сувейдов стоит целиком. Пусть весь верблюжий рынок это узнает.

Зейд замолчал. Я видел, как он думает: медленно, как поднимается ведро из глубокого колодца. Род, который пятьдесят лет ничего не продавал, кроме гордости, получал товар, который можно продать за деньги, не теряя гордости. Слово.

— А если купит вор? — спросил он вдруг. — Купит, продаст верблюда в соседнем оазисе, а тебе скажет, что пал. И потребует нового.

— Пусть приведёт шкуру, — сказал я. — Шкуру со знаком. Кто хочет нового верблюда, пусть принесёт кожу старого. Падаль не прячут, её показывают. Срезал знак и принёс — получи замену.

Зейд долго смотрел на меня.

— Ты думаешь о ворах больше, чем о верблюдах.

— Я думаю о людях, — сказал я. — Верблюды — это твоё.

— Кто будет смотреть верблюдов? — спросил он наконец.

Он уже был внутри. Продавцы называют это моментом, когда клиент начинает спрашивать про сроки поставки.

— Ты скажи. Ты знаешь, кто лучший.

— Абу Нахла, — сказал Зейд сразу. — Старик. Он смотрел верблюдов моему деду. Он видит верблюда насквозь, как ты видишь купца. Сейчас он нищий, сидит у западных ворот, никому не нужен. Городские его не зовут. Он им говорит правду.

Знатока, которого не зовут, потому что он говорит правду. Лучшего найма я придумать не мог.

Мы нашли его в тот же день, ближе к вечеру, когда жара спала. Абу Нахла сидел у западных ворот на старой попоне, кривоногий, высохший, с веточкой-зубочисткой во рту. На левой руке у него не было двух пальцев. Зейд поклонился ему, как кланяются старшим в роду, и старик ответил ему, не вставая.

Я не стал ничего объяснять. Попросил пройти с нами к ближайшему загону у северных ворот. Абу Нахла поднялся, долго разгибая колени, и пошёл, переваливаясь, как ходят люди, которые всю жизнь просидели в седле.

У загона он не останавливался. Шёл вдоль жердей, медленно, жевал свою веточку и говорил, не вынимая её из рта.

— Этот хорош. Этот старый. У этого глисты — смотри, какой помёт. Этот будет хорош через год, сейчас молод для вьюка. Эта беременная, а продают как пустую. Этому зубы делали.

Шесть верблюдов за пять минут. Перекуп, который стоял у загона, сначала улыбался, потом перестал, потом обругал старика по матери. Абу Нахла даже не повернул головы.

— Будет двор, — сказал я ему. — Ты будешь смотреть каждого верблюда, которого через него продают. Ты будешь говорить, кого брать, а кого нет. Тебе будут платить с каждого.

Старик посмотрел на меня впервые. Глаза у него были жёлтые, как у старого верблюда, и такие же спокойные.

— Чей двор?

— Купца Малика.

Абу Нахла вынул веточку из рта, посмотрел на неё и сунул обратно.

— Я смотрю верблюда, — сказал он. — Хозяин мне неинтересен.

Это был лучший ответ, какой я слышал в Хаджаре. Человек, которому неинтересен хозяин, не станет его искать.

* * *

Ночью я не спал. Считал на крыше, под звёздами, как когда-то в Москве считал бюджеты в такси по дороге из офиса.

Комиссия с продажи — десятая часть цены. Пастух и перекуп отдают её охотно, если их верблюд со знаком уходит дороже и быстрее. Гарантия — замена в течение сорока дней. Сколько верблюдов, которых смотрел хороший знаток, падает в пути? По словам Зейда, один из двадцати, а у Абу Нахлы и меньше. Значит, гарантия стоит пятую часть от комиссии с двадцати проданных — она окупается с запасом. Нужен резерв на замены, верблюдов десять, это сто динаров, которых у меня на имя Малика не было. Значит, начинать с малого, резерв набирать из оборота.

И третье — то, ради чего, может быть, всё и затевалось. Молодые из родов, которым не на что купить верблюда ни для каравана, ни для свадьбы. Их сотни в Хаджаре, я видел их у колодцев и у кахвы. Дать им верблюда сейчас, а плату взять после сезона, с наценкой. Под слово их рода. Потребительский кредит. В Москве так продавали телефоны и холодильники, и все, кто так продавал, богатели.

Знак. Я крутил его в голове, пока не придумал. Круг с точкой внутри. Простой, как глаз. Его нельзя спутать ни с одним тавро рода, потому что у родов тавро — это палки, крюки и полумесяцы. Круг с точкой — это глаз, который посмотрел.

Слово бренд, которым я кормился двадцать лет, когда-то значило клеймо на шкуре. Его выжигали на коровах, чтобы все знали, чья корова. Потом стали выжигать на бочках с виски, на ящиках с товаром, на всём, за что отвечает хозяин. Потом его стали печатать на рекламе в интернете, и все забыли, что оно когда-то пахло палёной шерстью. В Хаджаре мне предстояло вернуть слову его первый смысл.

Я лежал на крыше и понимал, что делаю ровно то, от чего бежал через пески. Дело, которое станет видно. Слово, которое станет известно. Имя — пусть чужое, пусть выдуманное, — которое будут повторять у каждого загона. Всё, что я обещал себе на гнилой соломе в Варене и в песчаную бурю у колодца, было против этого.

Я понимал. И всё равно считал дальше.

* * *

Под утро цифры сошлись, и тогда я увидел дыру.

Рассрочка. Верблюд сейчас, деньги потом, а цена выше, чем за наличные. Я помнил историю, которую рассказал мне меняла у ворот в первый же день. Человек с побережья давал юношам из родов на свадьбу и на верблюдов, тихо, через бумажки, будто продаёт товар с отсрочкой. Кади назвал это рибой. Эмир взял его дом в казну, а самого высекли у восточных ворот. Сайф показал мне место в пыли.

Моя рассрочка была не тем. Я собирался продавать настоящих верблюдов, а не бумажки. Но я знал, как работают регуляторы в любом веке. Регулятор не разбирается, что ты продаёшь на самом деле. Он смотрит, на что это похоже. А похоже это было на рост.

Если это рост, меня высекут у восточных ворот раньше, чем я продам первого верблюда. И двор Малика станет домом эмира.

Мне нужен был человек, который скажет, что это не рост. Не любой. Такой, которому поверит кади. Мне нужен был законовед.

Глава 10. Фетва

Законоведов в Хаджаре было много, и почти все сидели при большой мечети.

Сахль объяснил мне это у колодца, наполняя бурдюк. При большой мечети сидят учёные, которых слушает кади, и слушает хатиб, и слушает эмир, когда хочет, чтобы его решение выглядело не его. Они хорошо одеты. Им носят по три бурдюка в день, а по праздникам по пять. Они говорят то, что надо, и почти никогда не говорят того, что не надо.

— А есть такой, который говорит, что думает?

Сахль подумал над этим вопросом серьезнее, чем над любым другим за всё время нашего знакомства.

— Ибн Аббад, — сказал он. — У малой мечети, за кожевненным рядом. Старый. Ему ношу один бурдюк в два дня. Он платит книгами.

— Книгами?

— Читает мне. — Сахль пожал плечами, будто это было обычное дело. — Я не умею читать. Он читает, я слушаю. Это плата.

Это было лучшее рекомендательное письмо, какое я мог получить. Человек, который платит водоносу чтением, не станет продавать фетвы.

* * *

Малая мечеть стояла в квартале кожевников, и пахло там так, как пахнет везде, где выделывают кожу: мочой, известью и гнилью. Ибн Аббад жил в комнатке при мечети, в которую вела низкая дверь без запора. Я постучал по косяку и вошёл.

Комнатка была заставлена книгами. Не так, как стоят книги в Москве, на полках, корешками наружу, — а стопками, свитками, связками, тетрадами, перевязанными бечёвкой. Они лежали вдоль стен до самого потолка, на полу, на единственном сундуке. Посреди этого бумажного города, на потёртой циновке, сидел крошечный старик в выцветшем халате и читал при свете из двери.

Ему было около восьмидесяти. Ростом он был с подростка, лёгкий, как высохший лист. Борода короткая, белая, совсем редкая. Глаза — живые, тёмные, слишком молодые для этого лица.

— Ты купец из-за моря, — сказал он, не вставая. — Вернее, управляющий купца из-за моря. Сахль говорил. Садись, если найдёшь куда.

Я сел на край циновки. Кахвы он не предложил.

— Кахва у меня по пятницам, — сказал он, будто прочитав мой взгляд. — В остальные дни воды. Пей.

Он налил мне воды из кувшина в глиняную чашку. Вода была тёплой и пахла кожевненным кварталом. Я выпил.

— Ты пришёл спросить, — сказал старик. — Все приходят спросить. Только одни хотят знать ответ, а другие хотят, чтобы я написал ответ, который они принесли с собой. Ты какой?

— Второй, — сказал я. — Но если ответ окажется другим, я хочу его знать раньше, чем кади.

Ибн Аббад улыбнулся. Зубов у него было мало, но улыбка от этого становилась только моложе.

— Хорошо. Хоть один честный. Говори.

* * *

Я рассказал ему про двор. Про знак, про знатока, про гарантию — коротко, потому что это его не касалось. Потом про то, что его касалось. Верблюды сейчас. Плата после сезона. Цена после сезона выше, чем цена сейчас.

Он слушал, не перебивая, и пальцами медленно перебирал край ближайшей тетради.

— Ты продаёшь верблюда или деньги? — спросил он, когда я кончил.

— Верблюда.

— Он твой, когда ты его продаёшь?

— Двора. Хозяина. Он стоит в загоне, его посмотрел знаток, на нём знак. Покупатель видит его, трогает и уводит.

— В тот же день?

— В тот же час.

— Хорошо. — Он кивнул, будто поставил галочку в невидимом списке. — Цена.

— Двенадцать динаров, если сейчас. Пятнадцать — если после сезона.

— Вот. — Старик поднял палец, сухой, как прут. — Две цены за одного верблюда. Ты знаешь, что сказано о двух продажах в одной?

Я знал. Об этом мне рассказывал ещё в Азмаре старый Насир, когда учил меня грамоте на договорах. Нельзя продавать вещь так, чтобы покупатель ушёл, не зная, какую цену он платит. Это неопределённость, а неопределённость в сделке — грех.

— Покупатель выбирает до того, как уведёт верблюда, — сказал я. — Сейчас или после сезона. Писец пишет одну цену. Одну. Пятнадцать после сезона — значит, пятнадцать. И верблюд уходит.

Ибн Аббад помолчал.

— Значит, это одна продажа, — сказал он. — С одной ценой. Которая выше, потому что ты ждёшь.

— Да.

— А если он не заплатит после сезона? Если сезон был плохой, караван ограбили, верблюд пал?

— Я жду.

— И цена растёт?

— Нет. Пятнадцать остаются пятнадцатью. Через месяц, через полгода.

— Ни медяка сверху за то, что ждал? — Старик смотрел на меня очень внимательно.

— Ни медяка.

— Тогда ты рискуешь. Должник может тянуть год, и это ему ничего не будет стоить.

— Рискую, — согласился я. — Поэтому за каждого покупателя поручится его род. Если сын рода не платит, позор ложится на род. Род заплатит сам, чтобы не носить позор.

Ибн Аббад вдруг засмеялся. Тихо, почти беззвучно, тряся узкими плечами.

— Честь вместо пени, — сказал он. — Это старше любого закона, купец. Это старше даже меня.

Он перестал смеяться так же быстро, как начал.

— Теперь твоё обещание. Если верблюд падёт в пути — дашь другого. Ты ставишь на то, что он не падёт. А ставки — это игра. Игра запрещена.

Об этом я не думал. Я думал о рибе и забыл, что у регулятора всегда есть второй пункт.

— Я не ставлю, — сказал я медленно, пока думал. — Я отвечаю за товар. Если гончар продаёт кувшин, а кувшин течёт, гончар меняет кувшин. Он не играл с покупателем. Он отвечал за свою глину. Верблюд — мой товар. Знаток смотрит, чтобы он не тёк. А если потёк, я отвечаю.

— Кувшин течёт от плохой глины, — сказал старик. — А верблюд падает от песка, от жажды, от разбойников. От того, что ты не можешь знать.

— От разбойников — не отвечаю. От жажды — не отвечаю. Только если пал сам, своей смертью, от того, что знаток должен был увидеть. — Я придумывал правила на ходу и знал, что они правильные. — Покупатель приносит шкуру со знаком и говорит, как пал. Знаток смотрит.

Ибн Аббад долго молчал.

— Ответ за товар, — сказал он наконец. — Не ставка. Ты отвечаешь за то, что продал, а не за то, что будет. Пусть так.

* * *

Потом он задал вопрос, которого я боялся.

— В прошлом году в Хаджаре был человек с побережья. Он тоже говорил, что продаёт с отсрочкой. Его высекли у восточных ворот. Ты знаешь?

— Знаю. Меняла показал мне место.

— Чем ты отличаешься от него?

Я думал об этом всю ночь на крыше и ответил так, как ответил бы на совете директоров: коротко и с цифрой.

— Тот человек давал деньги, — сказал я. — А записывал, будто продал товар. Товар никто не видел. Он ни разу не покидал его склада, его могло и не быть вовсе. Юноша уходил с деньгами, а возвращал больше денег. Деньги рожали деньги. А у меня юноша уходит с верблюдом. Живым, которого можно потрогать, навьючить, который может пасть. Я продаю вещь. Вещь стоит дороже, если за неё платят позже, — так же, как финики стоят дороже весной, чем осенью.

Ибн Аббад слушал, закрыв глаза. Потом открыл.

— Рост — это когда растёт время, — сказал он медленно, будто диктовал. — Ты даёшь деньги и берёшь за то, что прошло время. Торговля — это когда растёт вещь. Ты продаёшь вещь и берёшь за то, что она переходит из рук в руки. Время в твоей сделке не растёт: пятнадцать остаются пятнадцатью, сколько бы ни прошло. Значит, ты продаёшь не время. — Он снова поднял палец. — Пока.

— Пока?

— Пока ты не начнёшь брать сверху за просрочку. Пока ты не начнёшь продавать верблюдов, которых нет. Пока твой знак стоит на настоящем верблюде. В тот день, когда ты отступишь хоть в одном, я сам пойду к кади. Пешком. Я старый, но дойду.

— Справедливо, — сказал я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.